

*В. А. Сленцов*

**ТРУДНОЕ  
ВРЕМЯ**

# Василий Алексеевич Слепцов

## Трудное время

Василий Алексеевич Слепцов (1836–1878) — путешественник, публицист, близкий журналу «Современник», организатор Знаменской коммуны, поборник женского равноправия. Слепцов в 1865 году написал повесть, которая по широте охвата жизненного материала, постановке коренных вопросов переломной эпохи (положение крестьянства, идейная борьба либералов и демократов, духовное развитие женщины, проблема семьи и личного счастья) является одним из самых значительных произведений второй половины XIX века.

# Содержание

Василий Алексеевич Слепцов . . . . .	0005
I . . . . .	0049
II . . . . .	0077
III . . . . .	0114
IV . . . . .	0127
V . . . . .	0148
VI . . . . .	0168
VII . . . . .	0178
VIII . . . . .	0200
IX . . . . .	0226
X . . . . .	0239
XI . . . . .	0278
XII . . . . .	0285
XIII . . . . .	0316
XIV . . . . .	0324
XV . . . . .	0353

# **Василий Слепцов**

## **Трудное время**

**Василий Алексеевич  
Слепцов**



**В** талантливой плеяде писателей-демократов шестидесятых годов XIX века Василий Алексеевич Слепцов выделяется и своеобразием художественного дарования, и общественным темпераментом, и как интересная, незаурядная личность.

Прожил он немного — 42 года, а в литературе наиболее интенсивно работал непропорционально к «жизненному времени» мало: всего каких-нибудь пять-шесть лет.

Пик его популярности в демократической среде — 1863–1865 годы. Блестящий мастер художественного очерка и фельетона, энергичный устроитель и участник литературных вечеров, превосходный чтец; признанный лидер движения за эмансипацию женщин, соратник Чернышевского, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, один из ведущих сотрудников «Современника»; организатор нашумевшей Знаменской коммуны в Петербурге и, наконец, автор повести, которую с восторгом встретила леворадикальная молодежь, — Слепцов, безусловно, был яркой общественно-литературной фигурой в «трудное время» — время, когда накал революционной си-

туации стал слабеть, когда особенно нужны были люди, способные нести знамя революционной демократии.

Но во второй половине 60-х годов слава его угасает, в семидесятые его помнят лишь ближайшие друзья, а в последующие десятилетия о нем вспоминают лишь издатели, мемуаристы и критики — как бы для того только, чтобы прочнее утвердить в узких границах известной эпохи, — даже в случаях панегирических отзывов о нем как художнике и личности. Крепко прирастает к нему — как некое литературное прозвище — определение «забытый писатель».

В одно со Слепцовым время творили Достоевский, Толстой, Островский, Тургенев; еще впереди были вершины славы Глеба Успенского, Лескова, Златовратского, Эртеля, Мельникова-Печерского... К тому же общественная атмосфера менялась так быстро, что звучало в ней то лишь, что резонировало с нею; Слепцов — как и Левитов, Решетников, Помяловский — остался в 60-х годах.

Однако постепенно значение его творчества перерастало рамки эпохи, становясь не

только звеном, но и ферментом литературного процесса.

В восьмидесятые годы заметил и оценил Слепцова Лев Толстой. «Особенно любил он читать Слепцова, — вспоминал учитель сыновей Толстого А. М. Новиков, — и из Слепцова у него было два любимых произведения: «На постоялом дворе», — и глаза его оживлялись, в голосе появлялись вибрирующие интонации, его самая простая обыкновенная дикция была полна естественного юмора, и он сам и слушатели покатывались со смеха, и «Шпитонка», которую Толстой никогда не мог дочитать до конца. Вначале его чтение этого рассказа, по обыкновению, было очень выразительно, но под конец глаза заволакивались, черты лица заострялись, он начинал останавливаться, старался преодолеть свое волнение, всхлипывал, совал кому-нибудь книгу, вынимал платок и поспешно уходил...»[1]

Толстой никогда, даже и в глубокой старости, не был сентиментален; не всякая трогательная история могла вызвать у него такую сильную эмоциональную реакцию... О чем же этот небольшой рассказ? Сюжет «Питомки»



несложен (как и почти все слепцовские сюжеты). Молодая женщина, кухарка, идет из Москвы в неведомую деревню, надеясь найти малолетнюю дочь, отданную из воспитательного дома в крестьянскую семью. По дороге ее нагоняет едущий в телеге крестьянин; он с трудом уговаривает бабу сесть в телегу, обнадеживает ее, обещая разыскать девочку. Приезжают в село, где как будто должна быть «питомка». Баба обходит все село, но нигде, ни в одной семье, где есть «питомки», дочери ее нет, и она, не поев и не отдохнув, возвращается обратно, в Москву, как и пришла, пешком... Но дело, конечно, не только в сюжете, — дело в том, как все это написано. И вот по тому, как он написан, рассказ «Питомка», увидевший свет в 1863 году, в перспективе развития русской прозы второй половины XIX века, может рассматриваться как явление типологическое, предвосхитившее лучшие чеховские рассказы. Слепцов проявил в этом рассказе редкое умение, не прибегая к подробному психологическому анализу, глубоко проникать в душевную жизнь простого человека, *быть в чужом сознании*. Толстой, вос-

принимавший страдания человека необыкновенно чутко и остро, был, конечно, взволнован тем, что горе матери, в который раз искавшей и не нашедшей своего ребенка, передано автором так просто. За горестной долей слепцовской героини виделась Толстому та несуразная российская действительность, которую он яростно обличал. В слепцовских рассказах Толстого восхищало мастерство автора — замечательного знатока народного быта, прекрасного психолога и искусного драматурга, умеющего раскрыть характер героя через диалог, почти не прибегая к ремаркам. Но все-таки главное в приятии Толстым художника, принадлежавшего к несимпатичному для яснополянского проповедника лагерю, по-видимому, то, что в слепцовской прозе Толстой обнаруживал все условия, которые, по его убеждению, делают литературное произведение истинно художественным: правильное, то есть нравственное отношение автора к предмету; ясность изложения и красоту формы; и искренность, то есть непритворное чувство любви или ненависти к тому, что изображает художник[2].

Не под влиянием минутного чувства и уж никак не ради красного словца сблизил Слепцова с двумя русскими гениями Лев Толстой, сказав о Чехове, что он после Гоголя и Слепцова первый юморист[3]. Этот необычный литературный ряд, так непринужденно образованный Толстым, замечательно точен. Каждому из названных писателей «определено чудной властью» было «озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы».

Было бы, разумеется, неоправданным преувеличением ставить Слепцова на ту же высоту, на которой ныне стоят Гоголь и Чехов; но не следует, с другой стороны, и преуменьшать тот факт, что Толстой видел Слепцова не только рядом, но и *наравне* с двумя гениями русской литературы.

Мнение же Толстого в литературных вопросах вообще чрезвычайно авторитетно, ибо продиктовано было всегда самыми высокими требованиями по отношению к искусству и жизни. К тому же толстовское суждение о Слепцове не одиноко. Чехов как бы под-

твердил его, признавшись однажды Горькому, что Слепцов «лучше многих научил его понимать русского интеллигента, — да и себя самого»[4]. Что касается Горького, то он ставил Слепцова в ряд лучших писателей России [5] и в своей оценке характера слепцовского дарования был фактически солидарен с Толстым. «Крупный, оригинальный талант Слепцова, — писал он, — некоторыми чертами сроден чудесному таланту А. П. Чехова»; Горький считал, что писателей сближают «острота наблюдений, независимость мысли и скептическое отношение к русской действительности»[6].

Популяризации творчества В. А. Слепцова в советское время много способствовал К. И. Чуковский, работы которого о писателе проникнуты любовью и восхищением. Но даже и в конце 50-х годов этот выдающийся знаток и исследователь русской литературы с горечью признавал, что «интерес к Слепцову и к его писательской личности все еще не соответствует его литературным заслугам».

Но не будем говорить об исторической несправедливости. Мы можем быть вполне

уверены в том, что придет время, когда за произведениями В. А. Слепцова будет признано право стоять в ряду лучших произведений русской классики.

Биографические сведения о Слепцове довольно скудны. Многого мы бы никогда не знали о нем, если бы жена его, писательница Л. Ф. Нелидова-Маклакова, не совершила поистине подвижнического деяния, создав роман о муже и выполнив тем самым свой долг перед литературой и обществом[7].

Трудно судить, насколько достоверны приводимые Нелидовой факты из жизни Слепцова, но и сомневаться в них у нас нет оснований. Тем более что это все-таки *факты*, в отличие от *оценок* личности писателя, оставленных многими его современниками, и поэтому они представляют особый интерес: оценок Слепцова — человека и писателя — достаточное количество, а вот фактов маловато...

Родился Слепцов в Воронеже, 17 июля 1836 года, в семье тамбовского помещика, отставного полковника, участника турецкой (1828–1829) и польской (1831) кампаний. Из

Польши он и привез себе жену, генеральскую дочь, урожденную Вельбутович-Паплонскую. Старики Слепцовы были разгневаны: мало того, что Жозефина оказалась бесприданницей, что по-русски говорила плохо и была некрасива, — она была католичкой! Результаты гнева не замедлили сказаться: при разделе имущества Алексея Слепцова обделили, «швырнув» ему захудалую деревушку в Саратовской губернии... Особенно не выносила невестку свекровь, и Василий Слепцов рассказывал Нелидовой, что в детстве у него был добрый гений — мать и злой — бабушка. Нервная обстановка в семье действовала на мальчика угнетающе и воспитывала в нем замкнутость, впоследствии перешедшую в застенчивость и скованность, которые особенно проявлялись в незнакомых компаниях... Рано возникла и развилась у мальчика наблюдательность — свойство, рождаемое впечатлительностью и ведущее к склонности обдумывать все, что привлекает внимание. Ранняя наблюдательность, как правило, обеспечивает раннее умственное созревание, и нет ничего удивительного в том, что отданный

вначале во второй класс Первой московской гимназии (1847 г.), а затем (после переезда родителей из Москвы в имение отца) в третий класс Пензенского дворянского института (1849 г.) Василий Слепцов был одним из лучших учеников; но замкнутость его в новой обстановке, среди сверстников, не только не исчезла, но еще больше укрепилась, и однажды воспитанник дворянского института Василий Алексеев Слепцов решил не возвращаться в институт; будучи дома на каникулах. Поводом к такому решению послужила смерть отца, вызвавшая якобы необходимость принять хозяйство «на мужские плечи». Но хозяйством 14-летний юноша не занялся, а увлекся делом, более соответствующим его возрасту: он стал думать о смысле жизни. Нервный и возбудимый, он не останавливался на «золотых серединах» и, найдя смысл жизни и опору в религии, сделался религиозным до фанатизма. Он постился и «умерщвлял плоть»: голодал и носил на голом теле вериги — ржавую цепь от старых весов. Цепь сдирала кожу, на теле образовались язвы, но — «если любишь и веришь», то можешь стерпеть любые

лишении и страдания. Осенью Василий вернулся в институт — духовно изменившийся; он стал добровольно прислуживать в институтской церкви. Но что-то мучило юношу, его пытливый ум не выдерживал однозначности религиозных догматов, и однажды (это случилось в 1853 году) судьба набожного воспитанника дворянской школы решительным образом изменилась. Вот как об этом рассказано в романе Л. Нелидовой: «В институтской домово́й церкви шла обедня в один из больших праздников. Свиридов (так Нелидова назвала Слепцова. — *В.Л.*) вместе с другими двумя мальчиками, увлеченными его примером, прислуживал, по обыкновению, в алтаре. Остальные ученики в величайшем порядке были выстроены парами вдоль церкви. Публики по случаю праздника собралось более обыкновенного, и половина обедни успела уже отойти, как вдруг, как раз в ту минуту, когда с первыми словами «Верую» священник отдернул церковную завесу над царскими вратами, с левого клироса вышел бледный более обыкновенного Свиридов, сделал несколько шагов по амвону, отворил снару-



жи царские врата и вошел в алтарь». Всеобщее изумление и ропот вызвал этот поступок: в царские врата могли входить только священнослужители. Вдруг из алтаря послышался стон, и через некоторое время мальчика вынесли; он был без сознания. Директор института, немец, пришел в негодование и требовал у юноши объяснений. Ответ поразил его: «Я хотел испытать, что будет, — слабым голосом, лежа в постели, с страдальчески нахмуренными бровями, но уже с полным сознанием отвечал Свиридов. — Я ведь, входя, сказал: не верую! Я хотел видеть, допустит ли это и накажет ли меня за это бог. Если он есть, он ведь непременно должен был наказать меня, потому что тогда я сделал грех и, пожалуй, даже большой грех. Но вот я, видите ли!.. Я сомневаюсь... Я ведь давно сомневаюсь, вот в чем дело, — докончил Свиридов уже как бы про себя...» Естественно, что такое объяснение ни в коей мере не могло оправдать юношу, — напротив, оно с очевидностью показывало непрочность религиозного чувства и склонность к атеистическому образу мыслей... Слепцов был исключен из институ-

та. Поступок, совершенный им, был весьма неординарным и, безусловно, не мог не сказаться на дальнейшем духовном развитии юноши. Отныне поиски жизненных опор у него не могли быть связаны с религией. В своих размышлениях о добре и зле, справедливости и несправедливости, счастье и страдании он приходит к мысли об антигуманном характере современного ему общественного устройства. «...В основании нашей религии, нашей нравственности до сих пор положено было страдание, заметьте, — одно страдание, апофеоз страдания», — делает заключение юноша — замечательное по глубине и четкости мысли заключение. Страдание, рассуждает он, противоестественно, его должно заменить наслаждение жизнью — но какое? «Задача, — думает Свиридов-Слепцов, — в том, чтобы люди поняли преимущество одних (удобств. — В.Л.) перед другими и добровольно поступились некоторыми из удобств и радостей жизни, ежедневных, вульгарных и малоценных, не даром, нет! Но ради обмена на бесконечно более высокие, неизмеримо более утонченнейшие и в тысячу раз, может быть,

более сильные наслаждения высшего порядка, духовные, альтруистические. Без наград, без удобного пансиона на том свете, как говорит Герцен, а именно ради самой цели, ради естественного в каждом человеке эгоистического стремления к счастью». Упор на духовность в этой своеобразной «теории наслаждения» указывает на характернейший признак мировоззрения Слепцова вообще — его страстную веру в необходимость перестройки общественного порядка на основаниях высшей духовности.

Пятидесятые годы — пора его метаний. Осенью 1853 года Слепцов поступает на медицинский факультет Московского университета, а уже через год оставляет медицину, увлекшись театром. Любовь к театру у Слепцова прежде всего свидетельствует о художественном складе его личности; но и его социальное мышление, безусловно, проявилось в этой любви. Вспомним суждение Гоголя о театре: «Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». Слепцову было свойственно именно такое отношение к театру. Но определить свое прочное место в ис-

кусстве он еще не умел... Проработав сезон 1854/55 года в ярославском театре, Слепцов возвращается в Москву; в 1856 году он женится на танцовщице московского театра Екатерине Цукановой, но брак этот был недолг: через год жена Слепцова умерла.

В 1858 году он женится на дочери тверского помещика Елизавете Языковой, — по-видимому, познакомившись с нею через ее брата, адвоката-либерала, впоследствии участника знаменитой слепцовой коммуны.

Поступив на службу в канцелярию московского гражданского губернатора, он оказался в одном из «нервных узлов» государственной системы, возбужденной ожиданием близких и важных событий: решался вопрос об упразднении института крепостного права.

Предреформенные годы для молодежи обеих столиц и крупных губернских городов — годы подготовки к «делу». Всему живому и свежему передавалась энергия времени, на все полуживое и дряхлое время действовало как гальванический ток, вызывая судороги. Радикализм левел до нигилизма, консерватизм пытался обрести уверенность в крайне

правом охранительстве, прагматизм и позитивизм овладевали молодыми умами; увлечение естественными науками знаменовало распространение атеизма.

«Все как будто знали, что надо делать, и жаждали этого дела. Все знали, что жить основами прошлого нельзя, что обновление, реформы необходимы, а прежде всего необходимо освобождение крестьян. Но это было только начало, хотя бы и самое важное. Надо было обновить суды, цензуру, администрацию, «эмансипировать» женщин, выстроить железные дороги и т. д. Всех — и молодых, и старых — охватило лихорадочное возбуждение, истинная сущность которого сводилась к тому, что общество стремилось к самодеятельности, к освобождению от административной опеки, полновластной и всепоглощающей в царствование Николая I. Органами этой самодеятельности должны были явиться печать, земство, суд присяжных. Этому стремлению к самодеятельности, к эмансипации от прошлого и стремилась удовлетворить литература эпохи. Принципом ее одинаково был гуманизм, но этот гуманизм принял характер тре-

бовательной гражданственности. Мечтали о создании на Руси человека-гражданина. И к этому сводилось все, этому все служило».

Так писал либеральный историк литературы Е. А. Соловьев, и его характеристика конца 50-х — начала 60-х годов заслуживает самого пристального внимания, потому что именно в эту эпоху складывались наиболее резко противостоящие друг другу общественно-политические и литературные партии, развивались новые социальные характеры и темпераменты, во многом определившие своеобразие путей, по которым двинулись литература и жизнь России после крестьянской реформы.

Слепцов относился к разряду натур, не останавливающихся на полпути. Он быстро погрузился в атмосферу освободительно-либеральных словопрений и быстро выплыл из нее. Близко сойдясь с участниками модного в Москве литературного салона графини Салиас де Турнемир, Слепцов не мог долго оставаться деятельным лицом среди фразеров. Летом 1860 года он совершает решительный поступок, из которого логически должны были вытекать другие, столь же решительные по-

ступки: он продает свою часть имения брату, тем самым устраняя возможность «нетрудовых доходов», и начинает добывать средства к жизни литературным трудом. Осенью этого же года, заручившись рекомендацией этнографического общества, Слепцов отправляется в путешествие по «городам и весям» Московской губернии, намереваясь познакомиться с тем, как живут и работают строители железных дорог, фабричный люд, каковы нравы на Руси обновляющейся. Результатом этого знакомства явились очерки, появившиеся в газетах «Московский вестник» и «Русская речь» весной 1861 года. В «Русской речи» был затем напечатан весь цикл слепцовских очерков, получивший название «Владимирка и Клязьма». Помимо богатого фактического материала, очерки Слепцова знаменовали собой и новый литературный стиль и появление новой писательской личности. Прежде всего, очерки Слепцова выделялись тем, что в них с панорамной широтой изображались наиболее важные движения взбодрившегося после отмены крепостного права капитализма, капитализма русского образца: тут и жульниче-

ство подрядчиков, и безалаберность случайных рабочих, и нищета, грязь, болезни, водка... Взыскательный (хочется по-старому, по книжному сказать — взыскующий) и как будто даже суровый взгляд повествователя-путешественника замечает всю пестроту человеческой массы вокруг и различает все роли в большом и сложном социальном спектакле. Внешне не выдающий своего отношения ко всему, что видит и слышит, повествователь самим отбором событий и лиц устанавливает совершенно недвусмысленный угол зрения на изображаемое. И постепенно начинаешь ощущать в его иронии горечь, в юморе — страдание, в отчужденном объективизме — негодование, в протокольной записи бесед — симпатию к собеседнику или, наоборот, антипатию к нему.

«Ткач был небольшой худенький человек, но в то же время очень шустрый и проворный на вид. Ручки у него были крошечные, точно у девочки.

Глядя на его убогое телосложение, я все думал: как это он мог нести на плечах такой бочонок?



— Дорога нынче водка стала? — сказал я.

— Беда; хошь совсем бросай пить.

— Что ж? Разве нельзя бросить?

— Нам это никак невозможно. Это точно, что по деревням многие совсем оставили. Вон по Можайке, 10 верст от Москвы, деревня есть, — другой год не пьют, и ничего, не жалуются; самовары завели, к чаю охоту большую имеют. А что нам? Нам без вина никак невозможно: наше дело такое. Без вина работать не станешь.

— Будто уж так и невозможно без вина работать?

— Работать отчего не работать. Мы от работы не бегаем. Под лежащий камень, говорят, и вода не подтечет; а главная вещь, без вина праздника не бывает. Неделю-то маешься, маешься около стана, спину тебе всю разломит, глаза словно вот застилает чем, грудь примется ныть, опять сидя ноги отекут. Ну, а праздник придет, — вышел на улицу: народ гуляет, девки песни поют; все в трактир да в трактир; думаешь, думаешь: да что ж это, братцы, да никак и мне сходить, а? Глядишь, и сам пошел.

Говоря это, он сильно декламировал, морщил брови и дотрогивался до меня пальцем, но эта прыть и эта развязность вовсе к нему не шли. Так и видно было, что в сущности он должен быть человек очень смирный, может быть даже очень мягкая, впечатлительная натура, и что ухарские замашки явились у него не вследствие потребности, а просто из подражания, и привились в продолжительное пребывание на фабрике».

Вот так, спокойно и без малейшей дидактики, точкой зрения своего собеседника писатель и ответил на больной русский вопрос: отчего мужик пьянствует? — и характер труда мастерового показал, и читателю дал понять, что за неприглядностью внешнего вида и поведения иного человека могут скрываться черты характера вовсе не отрицательные.

Вместе с тем деталь за деталью, слово за словом — создается во «Владимирке и Клязьме» образ повествователя: это мужественный, терпеливый, упрямый в достижении цели, наблюдательный, ироничный, неприхотливый, умный и добрый человек. Подобный набор добродетелей, будучи выражен открыто,

производил бы, разумеется, впечатление самое неприятное; но у Слепцова рассказчик выдает себя, свой внутренний мир чрезвычайно косвенно, и в результате в целом читатель начинает видеть перед собой нравственную физиономию автора, не симпатизировать которой не может.

Эти свойства слепцовской прозы в дальнейшем существенно не менялись.

Политическая позиция автора «Владимирки и Клязьмы» очевидна: это позиция левого демократа. Понятно, что в кружке Евгении Тур (графини Салиас де Турнемир) Слепцову долго задерживаться не пришлось. Осенью 1862 года он переселяется в Петербург и сходится с редакцией «Современника».

Шестидесятые годы — время зрелости и мастерства Слепцова, время его наивысшей литературно-общественной активности. Много работая в «Современнике», он успевает и писать фельетоны, рассказы (в некрасовском журнале появились все наиболее значительные произведения Слепцова: «Питомка», «Ночлег», «Спевка», «Свиньи» («Казачки»), «Письма об Осташкове»), и готовить материа-

лы к печати, и вести большую вне редакционную работу. Слепцов — деятельный участник литературных, с благотворительной целью, чтений; организатор лекционных курсов для женщин, разнообразных женских артелей, сотрудник журналов «Женский вестник» и «Искра» — словом, фигура в Петербурге заметная и популярная.

«Он жег свечу своей жизни с двух концов» — так выразительно определила энергический пафос деятельности Слепцова одна из тех, кому он помог найти свое дело в жизни; он «для проведения в жизнь идей того времени не щадил своих сил»[8], — говорит она, — и это чистая правда. От природы не слишком крепкий здоровьем, он тратил уйму времени и сил на устройство чужих дел, которых не искал — они сами валились на него: вера в то, что Слепцов обязательно поможет, вела к нему людей с самыми разными нуждами.

Он был необыкновенно талантлив. Та же знакомая его объективным тоном, призванным как бы не допустить преувеличений (хотя и не без легко угадываемой влюбленности), сообщает:

«Как выдающийся беллетрист, рассказчик и чтец на вечерах, как устроитель общественных предприятий, как человек остроумный и замечательно деятельный, наконец, как необыкновенный победитель женских сердец, Слепцов постоянно давал пищу для разговоров. Много шло пересудов о романах его личной жизни; при этом некоторые утверждали даже, что он притягивает к себе женщин каким-то особенно вкрадчивым голосом, который проникает в самую душу. Мне кажется, что он от природы так щедро был одарен, сравнительно с другими, всевозможными душевными и умственными преимуществами, что ему незачем было прибегать к каким бы то ни было ухищрениям: женщин пленяли в нем его красота, молодость, изящные манеры, ум, находчивость, остроумие; импонировали им и его общественное положение, его огромная популярность в интеллигентных кругах, первая роль, которую он играл во главе женского движения, а их страсть к нему еще более разжигалась вследствие его сдержанности, внешней холодности и индифферентизма, с которыми он обыкновенно дер-

жал себя со всеми»...[9]

К этому можно прибавить, что Слепцов играл на скрипке и гармонике, владел несколькими ремеслами: мог при случае выполнять работу столяра, портного, механика, лепщика, рисовальщика, резчика, маляра. Словом, мастер на все руки. И мастер этот делал все не дилетантски, а с профессионализмом — артистично, изящно. «До чего ни дотрогивалась его художественная рука, всему он умел придавать изящный вид», — вспоминал один из литературных критиков[10]. Подобные свидетельства оставили и другие знавшие Слепцова люди. Печать изящества лежит и на рассказах Слепцова, что также было замечено современниками писателя. Философ В. И. Танеев, например, отмечал, что рассказы Слепцова «относительно формы.. составляют ряд маленьких, высокохудожественных, безукоризненных шедевров»[11].

Он был безусловным приверженцем высокой эстетики во всем и мог бы без колебаний, как само собой разумеющееся, принять утверждение чеховского героя о том, что «в человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и

одежда, и душа, и мысли», — доживи он до 90-х годов; но и в социальные отношения и в повседневный быт людей он хотел ввести основания высокой эстетики. Когда, увлеченный идеями романа Чернышевского «Что делать?», он решил устроить общежитие-коммуну, то прежде всего позаботился именно об эстетической стороне дела: выбрал большой и красивый особняк на Знаменской улице[12], со вкусом меблировал комнаты, закупил в гостиную цветов. Экономически, по его замыслу, общежитие должно было стать выгодным для коммунаров предприятием: а там, где требовались дополнительные расходы, Слепцов не скупился тратить собственные деньги (это была пора его литературного процветания), и только одного он не рассчитал, не все, как он, готовы были к проведению коммунистического эксперимента. В коммуне, наряду с людьми, принявшими бы, случись такая необходимость, и аскетический образ жизни, обосновались люди с барскими замашками; в политических взглядах коммунаров также не было единогласия. Коммуна, впрочем, не просуществовала бы долго и в са-

мом идеальном варианте, так как за ее участниками была установлена полицейская слежка, и власти, конечно, не допустили бы «безбожия и разврата», сознательно организованного «коммунистами». В марте 1864 года петербургский обер-полицеймейстер доносил князю А. А. Суворову, генерал-губернатору северной столицы: «...В Петербурге образовался в недавнее время кружок молодежи очень безнравственного и вместе с тем очень вредного направления, в котором хотя и не видно теперь ничего политического, но нельзя быть уверену, что со временем оно не приняло другого характера.

В настоящее время мужчины и женщины, составляющие этот кружок, обращают на себя общее внимание тем, что вздорные и нелепые идеи свои стараются применить в практике к ежедневным занятиям своим и к образу жизни.

Безнравственная сторона их учения состоит в том, что они, не признавая церковного брака, заменяют его, как объясняют сами, браком гражданским, то есть допускают чувственные удовольствия без всякого ограниче-



ния и делают всех женщин и девиц их кружка общей принадлежностью всех членов их общества. Вредная сторона их учения состоит в том, что они отвергают основные правила общественного устройства, не признают всей важности родственных отношений, взаимных обязанностей между родителями к детьми и проповедают общность состояний, общественный труд и социальные идеи, которыми в последнее время так сильно наполнены были наши журналы, преимущественно «Русское слово» и «Современник», и бессвязные романы Чернышевского»[13].

Ясно, что при таком «понимании» существа дела со стороны власть предержащих для коммунаров хороших перспектив не могло быть ни в каком случае.

Слепцовская коммуна просуществовала с 1 сентября 1863 по 1 июля 1864 года, распавшись сама собой. Но через два года Слепцову припомнили организацию коммунистического общежития — когда террорист Д. В. Каракозов произвел неудачный выстрел в Александра II. Начались повальные аресты, и в числе первых арестованных был Слепцов.

Семь недель продержали его в полицейской части, допрашивая, и выпустили «больного, с опухшими ногами, оглохшего, исхудалого», — как писала Жозефина Слепцова в своих воспоминаниях о сыне[14].

С этого времени, год за годом, здоровье Слепцова ухудшалось, и сколько он ни пытался вылечиться — ничто не помогало. Он обращался к лучшим врачам того времени — Боткину, Склифосовскому, Пирогову, ездил на лучшие курорты Кавказа, но что-то уже было в нем непоправимо сломлено; язва прямой кишки (болезнь, от которой он больше всего страдал) перешла в рак...

Последние годы его жизни — так бывает! — стали и самыми счастливыми для него. Летом 1875 года Слепцов жил на даче в Петровско-Разумовском, под Москвой, и там познакомился с Лидией Филипповной Ламовской, начинающей писательницей (литературный псевдоним — Л. Нелидова); настоящая, большая любовь вошла в его жизнь.

В начале 1876 года Нелидова стала гражданской женой Слепцова. Она делала все возможное, чтобы спасти мужа, но там, где ока-

залась бессильной медицина, — что могла сделать она? Достаточно и того, что она была его счастьем в самые тяжелые для него годы...

Друзья не забывали его; Некрасов взял Слепцова к себе в «Отечественные записки», в пору работы Слепцова над романом «Хороший человек» (первые пять глав этого романа были опубликованы в новом некрасовском журнале в 1871 году) поддерживал его материально и душевно. Надо сказать, что, несмотря на прогрессирующую болезнь, Слепцов работал много, но почти ничего не доводил до конца: в это время он напряженно думал над вопросами, касающимися новых литературных форм, стремился найти какой-то новый художественный метод, с помощью которого можно было бы гораздо глубже и точнее воссоздавать жизнь. Эти поиски видны в романе «Хороший человек», стиль которого уже очень близок к стилю чеховской прозы 80-х годов.

В начале 1878 года он приезжает в Сердобск (небольшой городок в Саратовской губернии; там жила его мать), — по существу, умирать; с ним много рукописного материала.

ла — большей частью кавказских наблюдений; и все это, вероятно, погибло: нуждаясь в деньгах, писатель заложил в ломбард вместе с вещами и сундук с рукописями, а выкупить его уже не успел. 23 марта 1878 года, не дожив четырех месяцев до 42 лет, Слепцов умер, и его смерть сколько-нибудь слышного общественного отклика не вызвала...

Самое крупное и во всех отношениях зрелое произведение Слепцова — повесть «Трудное время».

Впервые повесть была напечатана в 4–8-й книжках «Современника» за 1865 год. Уже начался и набирал силу разгром революционной демократии, завершившийся «делом Каракозова» и закрытием «Современника» в 1866 году. В. И. Танеев в биографическом очерке о Слепцове описывал это время так:

«Тогда реакция началась. Те идеи, которые господствовали в конце 50-х и начале 60-х годов, утихли, уступили почти без боя. Все боялись, все пошло назад.

Молодые люди, которые еще жили традициями конца 50-х и начала 60-х годов, не зна-

ли, что делать.

Остатки революционных элементов увидели в «Трудном времени» какое-то откровение, а в Слепцове — какого-то пророка, который может разъяснить все.

Слепцов снова сделался одним из самых видных людей в Петербурге. На него молодежь возлагались огромные надежды»[15].

Молодежь, о которой говорит Танеев, — это, разумеется, не *вся молодежь*, а определенная часть молодежи, но наиболее деятельная и прогрессивная часть; ее надежды — это надежды на радикальное политическое и духовное обновление общества; значит, в Слепцове видели общественного вождя, способного указать правильный путь и увлечь за собой. Но год, когда вышла в свет повесть Слепцова, существенно отличался от 1863-го, года опубликования романа «Что делать?», тем, что вопрос теперь приобрел тревожное звучание: что делать, чтобы сохранить силы для дальнейшей борьбы, как вести себя в условиях «трудного времени», то есть в условиях усиления, с одной стороны, правительственных репрессий, а с другой — мелочно-рефор-

мистской деятельности либералов. В героическом слепцовской повести, разночинце Рязанове, читатель-радикал обнаруживал жертву реакции, человека, лишенного возможности продолжать революционную работу и все-таки использующего любой шанс для борьбы — хотя бы для борьбы с «прогрессивными» преобразованиями либерально-помещичьего толка в сельском хозяйстве. Своим поведением Рязанов доказывает важное для «остатков революционных элементов» положение: несмотря на «трудное время», революционер всюду может найти дело — хотя и кажущееся незначительным.

Идейный антагонист Рязанова в повести — помещик Щетинин. Он окончил университет в Петербурге; либеральные идеи предреформенной эпохи хмелем бросились ему в голову; мысль о возможности делать великое дело, повышая благосостояние и культуру народа, доведенного до нищеты и невежества веками рабства, — эта мысль казалась ему единственно важной, и он уже готов был к возможным лишениям и гонениям... Он и другу своему, Якову Рязанову, писал из дерев-

ни в Петербург «воззвания какие-то», призывал его «исполнять долг честного гражданина», и жену увлек планами переустройства хозяйственной жизни — своей и крестьян... Но вот Рязанов, познакомившись с хозяйственными хлопотами Щетинина, хладнокровной (и тем более разрушительной) иронией лишает всякого смысла деятельность своего гуманного друга, вскрывая непоследовательность, двусмысленность и в конечном счете фальшь этой деятельности. Рязанов исходит из признания непримиримой вражды, которая существует между крестьянами и помещиком, но этот социально-классовый подход к делу совершенно непонятен Щетинину. Когда Рязанов объясняет ему, что между помещиком и крестьянами идет война, Щетинин не может согласиться — ведь тогда вся его деятельность «на благо народа» не только не имеет позитивного смысла, но приобретает смысл отрицательный... И Щетинин с новой энергией бросается в круговорот хозяйственных дел; но вот уже и жена его, Марья Николаевна, раньше в меру своих знаний пытавшаяся, например, оказывать помощь боль-

ным, вдруг понимает, что никакого настоящего дела у нее с мужем в жизни нет, что Рязанов прав в своем ироническом скептицизме, и что вообще она участвует в гнусном деле. И она решает уехать от мужа и начать новую жизнь — такую, которая не была бы ей противна. «К помещикам и ко всем этим хозяевам, — заявляет она Рязанову, — я чувствую ненависть, я их презираю, мужиков мне, конечно, жаль, но что же я могу сделать? Помочь им я не в силах, а смотреть на них и надрываться я тоже не могу». Однако решение жены, ее прощальное письмо с резкими, оскорбительными словами («вы... заставили меня играть глупую роль в вашей глупой комедии») не понуждают Щетинина усомниться в правильности того, что он делает, а, напротив, вызывают у него новый прилив сил и новые хозяйственные планы. В его голове рождается идея капитализации хозяйства: осенью он скупит хлеб, к весне заведет овец, сколотит денег как можно больше (первоначальный капитал!) и начнет новое дело. «Деньги — это сила», — удовлетворенно заключает он. Рязанов, в свойственной ему ма-



нере, соглашается — возражает: «Сила-то она, конечно, сила, да только вот что худо, — что пока ты приобретешь ее, так до тех пор ты так успеешь насолить человечеству, что после всех твоих богатств не хватит на то, чтобы расплатиться. Да главное, что и расплачиваться будет как-то уж неловко: желание приобретать войдет в привычку, так что эти деньги нужно будет уж от тебя насильно отнимать».

Щетинин и Рязанов немедленно сделались «героями своего времени»; мнения критиков об этих фигурах колебались в широком диапазоне социально-психологических и эстетических оценок. Д. И. Писарев откликнулся на повесть Слепцова статьей «Подрастающая гуманность», в которой горячо симпатизировал Рязанову и крайне враждебно отнесся к Щетинину. При этом критик хорошо понимал, что его точка зрения не окажется преобладающей в массе отзывов о повести и ее героях. «Не подлежит ни малейшему сомнению, — заявлял Д. И. Писарев, — что очень многие читатели — например, все любители и клиенты «Московских ведомостей», — назовут Ряза-

нова отъявленным негодяем, разрушающим семейное счастье достойнейшего человека, а Марью Николаевну — взбалмошной бабой, неспособной оценить мягкость и великодушные нежнейшего из супругов и щедрейшего из землевладельцев. Все это в порядке вещей. Если бы эти господа читатели осмелились осудить Щетинина, то им пришлось бы произнести строжайший приговор над своими собственными особами. На это не решится почти никто... Мне теперь приходится доказывать то, что для мыслящих людей не требует никаких доказательств, именно то, что Щетинин — совершенная дрянь и что он, попавши в фальшивое положение, неизбежно должен был сделаться дрянью, даже в том случае, если бы природа одарила его не совсем дюжинными способностями»[16].

Критик петербургской газеты «Голос» прочитал «Трудное время» бесхитростно и увидел лишь первый, непосредственно бросающийся в глаза идейно-образный слой повести. Такое прочтение сделало помещика Щетинина человеком во всех отношениях замечательным, а его гостя и жену — людьми со-

мнительных моральных качеств.

Содержание слепцовской повести критик-либерал передавал таким образом:

«В самый разгар крестьянской реформы (кстати, действие повести происходит летом 1863 года. — *В.Л.*) в деревню к молодому помещику, который недавно женился, приезжает погостить на лето университетский товарищ Рязанов, из семинаристов. Щетинин, при сочувствии к эмансипации, недоволен и часто ропщет на то, что хозяйство его идет плохо. С женою у него полное согласие.

И вот приезжий гость с первого шага начинает преследовать хозяев какими-то неопределенными, но резкими и грубыми сарказмами. Во все время он не дает Щетинину ни одного практического совета, ни разу не высказывает положительно своего взгляда на дело, а постоянно отличается насмешками и топорными сарказмами. Ко всему относится он с грубым скептицизмом, хотя вы и не понимаете, во имя каких идей и принципов. Это какое-то медвежье, тупое отрицание. И что же! Щетинина, зная доброту и гуманность мужа, уезжает от него, потому что из

выходок семинариста заключила, будто она в семье играет только роль кухарки. Что ж? — любила, что ли, она этого неотесанного грубияна, который постоянно говорил ей дерзости? К нему, что ли, уезжает она от мужа? Вовсе нет, — она едет неизвестно куда и не зная зачем, а Рязанов уезжает в Петербург, где он сотрудничает при каком-то журнале».

Итак, с одной стороны, «добрый и гуманный» Щетинин, а с другой — «неотесанный грубиян» Рязанов с его «медвежьим» отрицанием и «грубым скептицизмом», в которых не видно ни идей, ни принципов.

В конце 80-х годов, через добрых два десятка лет, апологеты теории «малых дел» еще पुще набросились на Рязанова и ухватились за Щетинина, как за спасительный пример: «М. Протопопов, например, утверждал, что «добрые намерения Щетининых переходят в добрые дела и эти в отдельности ничтожные, незаметные, но чистые струи в совокупности своей производят то, что мутная река нашей жизни не покрывается тиной и не превращается окончательно в клоаку...»[17]

Формальной (читай: художественной) сто-

роной критик «Голоса» также недоволен.

«Этот туманный и фальшивый сюжет, — писал он, — обставлен у г. Слепцова бесчисленным множеством вводных сценок, анекдотов, лиц, разговоров, подмеченных и подслушанных, очевидно, в разное время и в разных местностях и нанизанных теперь в один рассказ с целью показать вам современную русскую жизнь. Это пестрый калейдоскоп, где мелькают, сталкиваются и группируются крестьяне, солдаты, лавочники, извозчики, старосты, помещики, мировые посредники, где вы видите и деревенскую сходку, и земство, и мировой съезд — и все это как будто сквозь выпуклое стекло, от которого все предметы кажутся в преувеличенном виде, с резкими выпуклостями»[18].

Суждение это замечательно, в частности, тем, что в нем выражено неприятие самой сути слепцовского способа передачи действительности. В «Трудном времени» поэтика Слепцова реализовалась наиболее полно.

Сила ее заключается прежде всего в последовательно проведенном на протяжении всего повествования объективированном описа-

нии, особенностью которого является восприятие произведение *внешней* стороны действительности. Писатель не делает попытки показать сознание своего героя, не переступает границы, за которой находится то, чего знать ему не дано. А не дано ему знать, что происходит в сознании другого, и когда какой-то писатель говорит о своем герое: «он подумал», «ей пришло в голову» — он совершает насилие над правдой жизни в угоду так называемой художественной правде. Такова позиция Слепцова-художника. Но именно в 60-е годы русская литература стала мощно осваивать «внутренний мир» человека, и дальше все ее наиболее значительные художественные завоевания определялись глубиной проникновения в жизнь *сознания* человека; Слепцов, с его методом, оказался как бы на периферии литературного процесса. Тем более что метод его не был доведен до полного совершенства: кое-где писатель все-таки делает уступку «художественности», вводя как бы «потайного наблюдателя», — там, где описывает героя, находящегося в одиночестве, то есть одного, без других действующих лиц. «Пасмурный свет

из окна... бледно ложился на одну сторону ее красивого... лица», — кто видит, что лицо красивое (не говоря уже о том, что никто не видит и всего остального)? Но в целом повествование выдержано в строгом соответствии с основным принципом — изображать только то, что могут видеть все или, по крайней мере, еще кто-то кроме автора. Такой способ создает огромные трудности для подробной и полной характеристики героя, его мотивов, стремлений, душевных состояний. Тем больше заслуга писателя, если ему удастся передать внутреннее через внешнее, тайное через явное. Слепцову это удавалось. Не всегда удавалось читателю преодолеть преграду внешнего для обнаружения внутреннего. Внимательный читатель Слепцова, К. И. Чуковский увидел и расшифровал «тайнопись» «Трудного времени» — то есть те политические аллюзии, которыми повесть действительно богата; но в известном смысле вся повесть представляет собой некую тайнопись, — ибо читатель ее поставлен перед необходимостью угадывать скрытый в словах, жестах, поступках героев смысл, угадывать вообще тот смысловой

пласт, который находится за видимым, словесным пластом. В этом отношении поэтика Слепцова подготовила почву для художественных открытий Чехова.

Проза Слепцова, верно и сочувственно запечатлевшая бедственное положение народа, его стремления и чаяния, проникнутая духом протеста против угнетения и эксплуатации, верная революционно-демократическим традициям, естественно вписывается в магистральное движение русской литературы. И суждена ей долгая жизнь.

*В. С. Лысенко*



Время стояло летнее, самое раннее лето. Ехал проселком вольный ямщик, вез в телеге, на тройке, проезжающего.

Шла дорога полем, шла лугами да оврагами, и пришла дорога к лесу. Стали в лес въезжать. Дело было к вечеру.

— Далекó, что ли? — спросил проезжающий.

— Недалёко.

— А как?

— Да вовсе близко. Вот из лесу выедем, тут она и есть.

Ямщик остановил лошадей, слез, походил вокруг телеги, подтянул чересседельник, дугу покачнул, опять сел и, вытаскивая из-под себя вожжи, крикнул лошадям:

— Но! Недалёко!

Телега запрыгала по корням; в воздухе вдруг почудилась сырая, пахучая свежесть. Проезжающий снял картуз, вытер лицо платком и начал пристальнее всматриваться вперед.

Сквозь жидкий дубняк и орешник беспре-

станно то там, то сям проскакивали лучи покрасневшего солнца, по верхушкам птицы порхали. Лес заредел, стал все мельче да мельче, солнце разом выглянуло над кустарником, лошади круто повернули вправо, и вдруг телега очутилась на самом краю страшного обрыва, по которому вилась змеей дорога, вся изрытая, избитая и усыпанная мелкими камнями. Лошади стали.

С этого места видно верст на двадцать. Внизу, под самым обрывом — река, вся усеянная островами. Течет эта река из зеленых лугов, густо заросших мелким курчавым кустарником; извивается и прячется она в камышах, и опять сверкает вдали, и наконец совсем пропадает за далекими синими озерами. На другом берегу реки расстилаются сенокосы, хлебные поля и деревни. Ближе, по правее, село, вытянутое к церкви, с обеих сторон обсаженное садами, огородами, гумнами и старыми, почерневшими скирдами. Направо, в саду, на пригорке — помещичий дом. В самом низу под горою шумит водяная мельница.

— Экое место! — вслух сказал проезжающий.

— Место потное, — от себя заметил ямщик. — Годом бывает, сена родятся богатые, — прибавил он немного погодя и стал спускать, приговаривая лошадям:

— Гляди небось!

Проезжающий осматривал местность; лошади скользили и оступались; ямщик, не обращившись, спросил:

— Сродственники будете Лександру Васильичу-то?

— Нет.

— Так, значит, в гости побывать?

— Да, в гости.

— Доброе дело. Служите де ай нет?

— Нет, не служу.

Ямщик оглянулся.

— Кто ж вы будете сами-то?

— Попов сын.

— Мм. Да, да, да.

Ямщик помолчал, потом сказал в раздумье:

— А и много тоже ноне вашего брата, кутейников-то.

— Довольно.

— Довольно, довольно, — покачивая голо-

вой, говорил ямщик. — Ну, и что же теперь, братец ты мой, в писаря, что ли, задумал к яму проситься?

— Нет, так, по своему делу.

— Да; по своему делу... Но! дьяволы! Пропasti на вас нет! Ту, ту, ту!

Лошади поскакали, телега покачнулась — на бок, потом на другой и, прыгая через кочки, понеслась по дороге к селу.

Прежде всего кинулась в глаза проезжающему новая, крытая тесом изба, с крылечком, одиноко стоящая на лужайке; над входом — голубая вывеска, и белыми буквами написано: «Волостное правление». Тут же, рядом с правлением, под навесом виднелись пожарные инструменты: трубы, бочки, багры и проч. На селе куры бродили по улице, поросенок с визгом выскочил из-под колес, мужик торопливо снял шапку и потрянул волосами.

— Эх вы, несчастные! — крикнул ямщик на лошадей. Телега загремела по мосту, потом запылила по двору и остановилась у флигеля.

На крыльце стоял человек небольшого роста, в пальто, и, засунув руки в карманы, пристально смотрел на приезжего.

— Александр Васильич дома? — спросил его приезжий.

— Нету; их дома нету, — отвечал человек. — А вы от станowego? — спросил он, подходя к телеге и подставляя ухо.

— Нет; не от станowego; я сам от себя. Скоро вернется Александр Васильич?

— Они недалеко уехали с барыней; за двенадцать верст, к господину Ушакову. К вечеру хотели быть обратно. А вы кто такой?

— Я-то? Да я товарищ его. Он знает, он меня ждал.

— А! Так, так. Знаю-с. Пожалуйста! Я сейчас велю ваши вещи... Господин Рязанов?

— Да.

— Ну, так. Ждали... Как же...

— А где бы мне тут пристроиться пока?

— А вот тут во флигеле комнату приготовили; только теперь там, я вам скажу, такая идет чепуха: бабы это возются... разные эти тряпки... черт их возьми!.. нет, нельзя...

Приезжий задумался.

— Как же быть?

— Да вы вот что-с: вы пожалуйста пока в кабинет. Что ж такое? Ничего. Пожалуйста! А я

вот... эй! кто там? Приказчик! Кликни кого-нибудь.

— Нет, Иван Степаныч, нечего и кричать, — говорил, подходя, приказчик в долгополом армяке, спокойно и медленно шагая по двору своими большими сапогами. — Нету никого, — шабаш. Все на село ушли, — прибавил он, махнув рукой, и, подойдя к телеге, спокойно стал глядеть на лошадей.

— Онучински? — спросил он у ямщика.

— Онучински, — не глядя, отвечал ямщик.

— Ах, людишки проклятые эти! — горячился между тем Иван Степаныч. — Как господа со двора, так их с собаками никого не сыщешь.

— Да вы не хлопчите, пожалуйста, — говорил приезжий. — Я и сам внесу.

— Ах, нет. Как это можно? Приказчик! Нука, брат, возьми чемодан, а я вот саквояж да подушку. Пожалуйста!

Приказчик поставил свою шляпу на крыльцо, взял чемодан и понес.

Дом был старинный, одноэтажный, с бельведером, но переделанный и перестроенный заново. Разные несообразности и неудобства,

свойственные старым деревенским домам, были по возможности устранены с помощью кое-каких пристроек и сокращений, которые хотя и достигали своей цели, но зато лишали строение типичности и совершенно, по-видимому, исказили его прежнюю физиономию. Это было какое-то длинное, неправильное, выбеленное здание, с обоих концов снабженное фантастическими пристройками и террасами. В одном месте окно заколочено, а в другом пробито новое. С первого же взгляда заметно было, что новый строитель имел в виду одну цель — удобство, о симметрии же и вообще о внешности заботился мало.

В передней, да, впрочем, и во всем доме, никого не было; только заходящее солнце, ударяя прямо в широкие окна зала, насквозь пронизывало багровою полосой целый ряд опустелых комнат. Внутри дома, еще больше, нежели снаружи, заметны были свежие следы недавней реформы: новые двери, новые обои и перегородки, сделанные, как видно, во имя уюта; кое-где новая мебель, наконец, лампы нового устройства и едкий запах керосина. Но, несмотря на это, несмотря на всю

несомненность произведенных улучшений, на всем, решительно на всем, лежал еще другой, ничем не изгладимый отпечаток: низкие потолки, широкие изразцовые печи, да и самые размеры и расположение комнат — ясно доказывали, что дома такого рода сжечь можно, но пересоздать нельзя.

Гость тихо прошел по всему дому, молча останавливаясь в разных комнатах, и вернулся опять в переднюю: там в простенке висело большое дубовое зеркало, по бокам его стояли новые дубовые стулья с высокими спинками, дубовая вешалка в углу; но у стены так и остался широкий, неуклюжий, только заново выкрашенный коник[19].

— Куда же идти? — спросил гость у своего провожатого.

— А вот сюда, в кабинет. Пожалуйста! Да чаю не угодно ли? Умыться? — сейчас.

Гость остался один; он сел на диван и повел глазами вокруг: шкафы с книгами, камин, бумаги, газеты на столе; в окнах сетки, под окнами сад, за садом солнце садится...

В столовой заскрипели сапоги.

— Что ж, сударь, на чаек-то?



В дверях стоял ямщик и чесал в затылке. В то же время вошел Иван Степаныч с рукомошкой.

— Ах, подлый народишко! Черт их возьми!.. Воды нет. Ямщика за водой посылал. Ну, народ!

— Что вы хлопочете? Успеется еще.

— Да нет, помилуйте! это... ведь ни на что не похоже. Так набалованы, из рук вон. Извольте умываться!

Пока гость умывался, Иван Степаныч все говорил:

— Мыло-с? Вот!.. Ненадолго... Они долго там никогда не бывают. Неподходящий человек... грубость эта, знаете!.. Помещик, одним словом, помещик... «Эй, Ванька! трубку!..» Вот-с... хозяин... да, хозяин... Машины эти все презирает... Марья Николавна не любят к нему ездить.

— Это кто Марья Николавна?

— А супруга Александра Васильича.

— Да, я забыл, как ее зовут.

— Как же-с, да. Чудесная дама, воспитанная. Здесь таких нет. Я говорю: охота жить здесь, ей-богу! Провинция такая тут, не дай

бог! Шут ее возьми!

— А вы зачем же здесь живете?

— Я что же? Мое дело такое. Рад бы не жил.

— Что ж вы тут делаете?

— Я письмоводителем при Александре Васильиче состою. На бороде-то мыло осталось. Пониже! Пониже! Письмоводителем... Да что — письмоводитель?.. Черта ли тут?.. Помилуйте!.. Дела... Какие дела?.. Теленок в огород зашел, на грош потравы, на четвертак навозу одного накладет. Дело!.. Посредник... судить. Самоуправление, говорит... Вон в газетах пишут: здравый смысл народа... Дьяволы! Право... Школы там... Пес их возьми... Вот полотенце. Я говорю Александру Васильичу... Чаю угодно?

— Нет, не хочется. Я подожду их.

— Ну, подождите. Я говорю Александру Васильичу: палкой их!

— Что ж Александр Васильич?

— Что Александр Васильич? У него обыкновенно один разговор — из газет: гуманность. Ах, господи! Вот история! Свобода, говорит. Нет, вон она, свобода-то! Намедни пришли к нему государственные крестьяне про-

ситься, что нельзя ли, мол, нам под вас записаться в крепостные, так и так, говорят, очень слышаны, — жить у вас хорошо. А? — Свобода!.. здравый смысл! Нет, их, анафем, за этот здравый смысл мало еще тово... мало пробирали... Нет, мало. Другой бы, знаете, как разжег, гуманность-то эту показал бы им.

В это время в соседней комнате, переступая с ноги на ногу, явился приказчик. Он издали заглядывал в дверь и подкашливал.

— Кажется, к вам, — сказал гость.

— Ах, да; приказчик. Сейчас. Нет, я вам скажу, это беда. Вот записывать надо идти. А вам не угодно ли пока позаняться? Вот тут газеты: «Московские ведомости», «Северная почта»... По-французски умеете? «Ленор», «Ледеба»[21]. Извольте читать! Погоди, приказчик! Сейчас. Журналы желаете?

— Хорошо. Я посмотрю, — говорил гость, садясь за письменный стол.

— Читайте! Читайте! — кричал, уходя, письмоводитель.

Гость, оставшись один, зевнул и начал перебирать газеты; но все это были старые номера, журналы тоже; да и ворочал-то он нехо-

тя, лениво. На столе тут же попало ему несколько русских и французских брошюр вперемежку с пакетами мирового съезда и безобразными тетрадками «Agronomische Zeitung»[22], разные счета, ведомости, хозяйственные соображения, кое-как набросанные карандашом. Впрочем, по мышиным следам и по загорелому виду листов заметно было, что бумаги писаны давно и разбросаны по небрежности.

На стене, рядом с письменным столом, висели на крючках постановления, циркуляры, штрафные таксы за потраву и проч. в этом роде. На стульях лежали раскрытые коробки с бумагами, на диване валялась свежая неразрезанная книжка «Journal d'Agriculture Pratique»[23] и собачий ошейник. Гость потянулся в кресле и зацепил ногою под столом целый ворох «Русских ведомостей». Нераспечатанные пачки разъехали по полу. Швырнув их ногою опять под стол, он встал и прошелся по комнате. Между тем становилось все темнее, так что уже с трудом можно было рассмотреть несколько фотографических портретов, висевших над диваном: лица все

были известные. Гость сделал гримасу и, отвернувшись, неожиданно увидел в зеркале самого себя. Он вздрогнул — и начал всматриваться: на черном стекле тускло выступала тощая фигура, с исхудалым лицом и неподвижным взглядом. Гость лег на диван и закрыл глаза.

Прошло четверть часа. Вдруг в доме поднялась суета. Кто-то пробежал со свечою в переднюю, собаки залаяли, к крыльцу подъехал шарабан в одну лошадь; в шарабане сидели двое: мужчина и дама. На крыльце слышались голоса:

— Кто?

— Не могу знать.

— Что ж ты не спросил?

Вслед за этим в кабинет вошел молодой белокурый мужчина и в недоумении остановился.

— Не узнал, — подходя к нему и протягивая руку, сказал гость.

— Ах, это ты, Рязанов! Я уж думал, ты и не приедешь. Ну, что? Ну, как ты? Дайте сюда огня! Худ-то как, худ! Садись, что ли, я на тебя погляжу. Чай давай пить!

— Давай.

— Самовар скорее! — крикнул хозяин; потом обнял гостя и посадил его на диван. — Да ты рассказывай, как ты там в Питере? Что у вас там делается?

— Всё слава богу. Кланяться велели.

— Ну, что ты врешь! Кто мне кланяется? У меня там ни одной собаки знакомой нет.

— Так чего же тебе нужно?

— Ты мне вот что скажи: отчего ты не писал? В три года хоть бы слово! И не стыдно это тебе? а? — говорил хозяин, усаживаясь рядом с гостем на диван, и еще раз спросил:

— И не стыдно?

— Нет, брат, не стыдно. Да что толку писать? Нынче эту манеру бросают совсем.

— Эх, ты! А еще сочинитель называешься, — смеясь, говорил хозяин.

— Так что ж, что сочинитель? что ж мне для тебя письма, что ли, сочинять?

— Зачем сочинять? Писал бы о том, что есть.

— Странный человек! А если нет ничего?

— Рассказывай, брат! Разве я не знаю, что у вас там делается.

— Ну, а коли знаешь, так чего ж тебе еще? Ты ведь небось газеты читаешь?

— Да нет; это все не то.

— Нет, именно то, что тебе следует знать, а больше ничего знать тебе не следует.

— Все ты не дело говоришь, — смеясь и вставая, сказал хозяин. — Да и я-то черт знает что спрашиваю. Человек с дороги, а я о литературе. Что же чаю? Пстой, вот я свечи зажгу... Нет, это я очень рад: вот почему, — говорил он, шаркая спичкою. — Поэтому я и путаюсь. Ты меня извини, пожалуйста!

— Ничего, — отвечал гость, ворочаясь на диване, — то даже хорошо, что ты путаешься.

Свечи разгорелись понемногу, осветились зеленые стены с темными портретами и две фигуры приятелей: один — сухощавый, черный, с длинными жидкими волосами и клиновидною бородою (Рязанов), болезненно согнувшись, лежал на диване и серьезно всматривался в другого — белокурого, свежего молодого человека (Щетинина), вдруг неожиданно задумавшегося и неподвижно остановившегося с догоревшею спичкою в руке.

— Что задумался? — наконец спросил

ГОСТЬ.

— Кто? я? Нет, ничего. Это так, — ответил Щетинин, вздохнул и прошелся по комнате, потом круто повернул к Рязанову и, засунув руки в карманы своего пиджака, сказал:

— Ведь это знаешь что? Живешь здесь один, людей не видишь, ну и забудешься как-то; а вдруг услышишь такое слово, одно какое-нибудь слово, ну и пошло, и начнут подыматься старые дрожжи.

Гость молчал. Щетинин раза три прошелся из угла в угол, опять остановился перед гостем и торопливо заговорил:

— Нет, ведь я тебе рад, очень рад! — Он протянул гостю руку, крепко пожал ее и подсел к нему с ногами на диван. — Ну, теперь рассказывай! Говори, — что и как там у вас? Худ-то ты как, э! брат.

— Что ж делать, — равнодушно ответил гость.

— Вот что ты мне скажи, — подвигаясь ближе, вполголоса спросил Щетинин: — признайся, зачем ты сюда приехал?

— Как зачем? Ведь ты знал же, что я воздухом хочу лечиться. Сам же звал меня.



— Звал-то я звал, да я думал, что у тебя еще какая-нибудь цель есть, кроме воздуха.

— Нет, никакой у меня цели больше нет. Вот с тобой кстати повидаться.

Щетинин пристально смотрел гостю в глаза.

— Правду ты говоришь?

— Гм! Что ж ты меня спрашиваешь, правду ли я говорю? Если я не хочу тебе сказать, так не скажу, как ты меня ни спрашивай, как ни вытаращивай на меня своих пронизательных взоров.

— Я думал, что ты скажешь.

— Напрасно думал... А если тебе очень уж так захотелось узнать, зачем я приехал, так ты сам старайся узнать, выпытывай поискуснее: заводи разговоры о таких предметах и замечай, или пьяным меня напой. Мало ли средств... Может, и узнаешь.

— Ну, понес опять! Ты, я вижу, все такой же.

— Все такой же, брат.

— И не надоело это тебе?

— Что ж делать-то? Может, и надоело, да делать-то нечего, не переделаешься.

— А вот я так переделался.

— Ты?

— Да. Что ж, это тебя удивляет?

— Нет, не удивляет. А жена твоя где?

— Ей что-то нездоровится. Она, должно быть, уж легла. Ах, да; вот ведь я забыл совсем, что тебе нужно приготовить ночлег. Там, во флигеле, есть комната, да нужно ее прибрать. Ты тут посиди пока.

— Посижу.

Щетинин ушел, гость встал с дивана и начал разминаться, прохаживаясь и покачиваясь из стороны в сторону.

В кабинете стало прохладнее; в открытые окна тихо плыл пропитанный весенним запахом березы вечерний воздух, весь наполненный комариным пением и далекими отголосками разных вечерних звуков.

Минут через пять вошел Щетинин.

— Здесь ничего, жить можно, — сказал гость, продолжая ходить по комнате.

— А я уж и не знаю, хорошо ли, — привык. Должно быть, в самом деле хорошо.

— Хорошо! А дети есть у тебя?

— Что это ты вздумал? Нет, брат, у меня

нет детей; да и слава богу, что нету пока. Прежде нужно им приготовить кое-что, гнездо свить.

— Какого же тебе еще гнезда? — спросил гость, показывая рукою вокруг себя. — Или ты, может быть, намереваешься для каждого по курятнику выстроить?

— Нет, а вообще я такого мнения на этот счет, что обязанность родителей приготовить для детей кое-какие средства, ну, воспитание там... Нужно же подумать обо всем заранее.

— М-да, — как бы соображая, говорил гость, продолжая ходить. — Да, это похвально... Ну, и что же, — спросил он, — успешно идет заготовка?

— Ничего. Понемножку. Нельзя же вдруг.

— Нельзя. Конечно. Тише едешь, дальше будешь. А как же теперь эти... — спросил гость, останавливаясь перед Щетининым и показывая пальцем, — эти запасы по отдельным ящикам разложены: это для Машеньки, а это для Николеньки, или так, все вместе?

— Да что ты в самом деле! — шутя закричал Щетинин. — Смеяться, что ли, надо мной приехал!

— Нет; это я вспомнил, — усаживаясь на диван и улыбаясь, продолжал гость: — мать у меня была женщина чадолюбивая и аккуратная, скопидомка была; так вот она, бывало, как только родится у нее дочь, сейчас же начинает ей приданое копить и для каждой дочери особый короб предназначался. Ну, и все это идет ничего. Только как, бывало, которая-нибудь из них заспорит, видит мать, что дело плохо, не переспоришь, — «постой же, говорит, сука, вот ты у меня без приданого на-сидишься!». Сейчас возьмет и все тряпье из короба непокорной дочери переложит к покорным. Ну, и драки же бывали у сестер из-за этого! Неимоверные драки! Только один отец и помирит, бывало: возьмет да у всех трех приданое-то и пропьет.

После этого рассказа и гость и хозяин замолчали.

— А все-таки, брат, что ты там ни толкуй, а без этого нельзя, — наконец, заговорил Щетинин.

— Без чего нельзя?

— Да без того, чтобы не копить.

— Ну, это кому как. Одному нельзя не ко-

пить, а другому нельзя не пропить. Это, брат, дело любовное.

— Да нет, постой! — перебил его Щетинин. — Совсем ты не то говоришь. Понимаю я, понимаю; да только вовсе я не такой человек, как ты думаешь.

— Какой же ты человек? Ну, рассказывай!

— А вот я какой человек... Я человек... Да нет, я не могу о себе говорить. Черт знает, я как-то не умею.

Щетинин опять заходил из угла в угол с озабоченным лицом и ерошил себе волосы, наконец остановился, оперся руками на стол и сказал:

— Вот что я делал с тех пор, как не виделся с тобой, это я могу рассказать.

— Ну, все равно. Это даже лучше будет.

— Да, впрочем, ведь я тебе писал сначала.

— Что ты писал? Ты черт знает что писал: воззвания какие-то, куда-то все меня призывал... исполнять долг честного гражданина... об алтаре там... Я это сейчас же в печку. Черт возьми, думаю себе, попадешься еще, бог с ним!.. Опасный человек!

Щетинин хохотал, валяясь по дивану.

— Ах, чучело! Что он городит? Ну, да, хорошо, хорошо. Слушай же, я все сначала расскажу.

— И об алтаре опять будет?

— Нет, нет, не будет. Факты! Одни голые факты!

— Ну, вот это я люблю. Начинай! Ах, нет, постой! Еще один вопрос: чай-то будет? Не в рассказе, а вот здесь, на столе? Я, брат, еще не пил сегодня. Ведь это тоже факт неоспоримый.

— Как же, будет; непременно будет.

— То-то же. Ну, теперь трогай!

— Да; так вот, — откашлявшись, начал Щетинин, — тогда мать у меня умерла. Ты помнишь ведь?

— Как же, как же! Почтенная была дама. Помню, как же.

— Ну, так вот после ее смерти я приехал сюда и женился. Женщина эта... да, впрочем, сам увидишь, какая это женщина. Я тебе одно только могу сказать, что, если бы не она, я, кажется, году бы не вынес той каторжной жизни, которую я вел здесь вначале, когда, знаешь, все это еще внове было, ни к чему при-

ступиться не умеешь; а тут волнуется это все кругом, ничего слушать не хотят. Ты им и то и другое, ничего! Потом совсем было уж дело сладилось, уставную грамоту[24] писать — вдруг — нет! не хотим: подождем, что еще будет.

— Ну, да; это более или менее известная история, — заметил гость. — Как же ты с своими кончил?

— Как кончил? — подарил.

— Все?

— Всю землю, которой они владели.

— Что и требовалось доказать?

— Нет, доказать-то требовалось не это. Оно вышло-то совсем не то, что я хотел.

— Что ж, ты не хотел дарить? Тебя принудили, что ли?

— Да нет же! Я ехал сюда с тем, чтобы отдать им все даром, и, как приехал, сейчас же предложил им.

— Ну, и что же? — Не берут?

— Не берут.

— Молодцы! Во я за это люблю русский народ. По-латыни не знает, а *dona ferentes*[25] боится.

— Вот поди ж ты!

— Чего тут — поди ж ты? Понятное дело, что, если человек что-нибудь даром дает, не бери, надует.

— Да ты выслушай, чего мне это стоило. Сколько я ночей не спал, неприятностей, врагов сколько нажил между соседями!

— Еще бы! разумеется. Пример!

— Пример. Ну, вот! Главное, они на это и взъелись.

— Само собой! Гибельный пример.

— Тут, брат, такие мерзости пошли! Один чуть было на дуэль меня не вызвал. Сплетни, крик по всему уезду!..

— Ну, это напрасно. Нет, я бы с тобой лучше поступил. Я бы просто подбил твоих крестьян, чтобы они шепнули кому-нибудь.

— Было, любезный друг, все было.

— Ну, вот! это последовательно по крайней мере. Далее что?

— Да что далее? Все кончилось благополучно. Мировой посредник[26] тут... (отличный, брат, человек!) вошел в мое положение, объяснил им это все, растолковал и свел меня, наконец, с крестьянами.



— Мм. Свел-таки?

— Да, свел. Нет, какова штука-то, заметь! Мужики только через три года взяли то, что я им предлагал. Теперь, спрашивается, сколько они потеряли во все это время.

— Да; должно быть, много. Ну, а воинские чины тут не убеждали их принять твой подарок?

— Нет, слава богу, обошлось без этого.

— Значит, одному посреднику поверили?

— И я тут тоже толковал, говорил им: ребята, говорю, вы своей выгоды не понимаете.

— Да, уж это худо, когда человек сам своей выгоды не понимает. Ну, таким манером, стало быть, ты свершил в пределе земном все земное?

— Какое! Нет, брат, это еще только начало.

— А еще-то что же?

— А тут-то вот и начинается настоящее дело.

— Уголовное?

— Социальное, любезный друг, социальное.

— Мм-да. Вот оно что! — сказал гость и внимательно посмотрел на Щетинина. — Те-

перь понятно, почему они доносили на тебя; теперь я начинаю понимать, что ты мне тогда писал в Петербург. Да. Ну, так как же социальная-то пропаганда?

— Все ты вздор городишь, ничего ты не понимаешь, — полушутя, полусерьезно ответил Щетинин.

— Да ведь ты сам сейчас сказал.

— Так что ж, что я сказал? Я знаю, что ты думаешь. Но неужели ты воображаешь, что я способен на такие школьные выходки?

— Ничего я не воображаю. Ты говоришь, а я слушаю.

— Ну, и слушай же толком. Я тебе серьезно говорю.

— Говори!

— Ничего я противозаконного не затеваю, никаких я теорий не привожу, я делаю только то, что всякий из нас обязан делать.

Щетинин встал с дивана, провел рукой по волосам и сейчас же опять сел: он, по-видимому, затруднялся, с чего начать, — и царапал клеенку.

Рязанов спокойно и внимательно глядел ему в лицо.

— Прежде всего, — заговорил, наконец, Щетинин, — ты должен согласиться с тем, что всякое общественное дело тогда только может быть прочно, когда оно основано на чисто народных началах.

— Да.

— Пока народ не подал своего голоса, пока он молчит и только слушает, — никакая пропаганда не поведет ни к чему.

— Ну, так что ж?

— А то, что, следовательно, мы должны все наши силы направить на то... да ты, может быть, спать хочешь?

— Да, брат, хочу.

— Так мы еще успеем переговорить обо всем. И я-то хорош! Человек устал... А что же чаю? Постой, я сейчас спрошу.

Щетинин позвонил. Прошло несколько минут, никто не являлся.

— Должно быть, спят уж, — сказал Рязанов. — Да и не нужно. Бог с ним, с чаем. Прощай!

— Ну, как же это? Я тебя провожу по крайней мере... — заторопился Щетинин, взял свечку и повел гостя во флигель.

Рязанов, оставшись один, разделся, отворил окно, потянул свежего воздуха, поглядел в темный сад, потонувший во мраке, и задумался. За стеной кто-то во сне старался выговорить:

— Ме-ме-мери — Мериленд[27].

Рязанов погасил свечу и лег спать.

На другое утро гость проснулся рано, потому что рядом, за перегородкою, чуть свет началась возня: кто-то ходил по комнате, шуршал бумагою, шептал и сам с собою разговаривал. В отворенное окно вместе с утренним холодом влетали веселые звуки птичьего говора, заглушая тревожный и ласковый шепот, проникавший из сада.

Гость оделся и сел у окна.

— Господин Рязанов, вы не спите? — спросил за перегородкой знакомый голос.

— Не сплю.

Вошел письмоводитель.

— Мое почтение! Ну, как спали? Ничего? А я, черт ее возьми, всю ночь промучился. Я слышал, как вы вчера пришли. Мушку поставил за ухом. Чево-с? Оглох. За рыбой ходил, простудился. Оглох.

Письмоводитель держал голову немного набок, а рукой прихватывал на шее мушку.

— Разве вы здесь живете?

— Здесь. Вот рядом-то. Тут у нас контора. Зайдите, полюбопытствуйте! Да что? беспоря-

док.

Пришли в контору; такая же комната, как и первая, голые стены, стол с чернильницей и бумагами, два стула, шкаф.

— Вот-с, присутствие! Бумаги вот, книжки... У нас по книжкам все расчет. С бабами такая итальянская бухгалтерия у нас идет, двойная, с бабами. Сейчас ей *кредит*... а! рот разинет. Дуры!.. Ведомости тут... отношение мирового посредника... Тоже приказчик у нас умен... «Имею честь покорнейше просить вас, милостивый государь, выслать для объяснения...» Так тебе сейчас и выслали. Дожидайся! «Прийдя ко мне на барский двор, с дерзостью отвечал...» Хм! Чертовщина!

Письмоводитель рылся в бумагах, читал их, бросал, опять принимался читать, вдруг швырнул какой-то пакет на пол и сказал:

— Что же вы не садитесь?

— Нет, я пойду.

— Ну, как хотите.

— А тут что же такое?

— Тут я живу. Пустяки всё.

Он отворил дверь в маленькую комнату, всю заваленную газетами, нотами, пантало-

нами... На окне халат висит, чижик в клетке, духота, кровать стоит, и скрипка лежит на кровати.

— А вы играете на скрипке?

— Черта я играю. Ничего я не умею. Так...  
Пойдемте! Что тут еще... Вы куда? Гулять? И я гулять. Нет, мне нужно. Что ж вы стоите? На-  
девайте картуз!

На дворе никого не было. От дома лежала широкая тень на траве; по кирпичному забору прыгали воробьи.

— Вы куда же? В сад, что ли? — спросил  
письмоводитель.

— Мне все равно.

— Ну, так пойдемте на базар.

— Пожалуй! А где же у вас базар?

— А вон площадь-то, за церковью. Базар-  
ная площадь. Сельскими произведениями  
торгуют! Деготь тут это у них, лапти. Такая  
чушь! Коммерция!

Идет баба с ведрами; повар в белой куртке несет с погреба говядину; лошадей ведут на водопой; легавая собака идет, хвостом машет...

— Танкред! Хо! Дурак, — говорит письмо-

водитель, лаская собаку. — Ну, ну, ну! Ступай, ступай! Нечего, брат, тут, нечего. Ты и рад!

Танкред с неудовольствием отходит.

— Ах, постойте, — говорит письмоводитель, — забыл я тут; дельцо есть. Одна минута.

Вошли в людскую.

Стряпуха хлеба в печку сажает, грудной ребенок вертится у ней под ногами.

— Уйди ты, пострел! Чево-с?

— Матвей дома? — спрашивает письмоводитель.

— Нету; на футор до свету уехал.

— Скажи ему, что ж он о пашпорте-то о своем не хлопочет. Ведь штраф заплотит.

— Скажу.

— То-то, скажу. Ишь, тараканов что развели!

— Кто их разводит, проклятых?

— Вы разводите. Вы их любите до смерти; а после в ухо заползет. Ишь ты! Ишь ты! Это что? А? О дьяволы!.. Вот вас, чертей, за это надо разжечь. Что? Нет, врешь! Вы их жрете, анафемы. Пойдемте! Тут, я вам скажу...

Идет по двору мужик.



- Здравствуйте, Иван Степаныч!
- Здравствуй! Что тебе?
- К вашему здоровью.
- Зачем?
- Все насчет своих делов.
- Это насчет телушки-то? Знаю. Деньги принес?
- Нет, не принес.
- Так что ж ты, разговаривать пришел?
- А я так полагал, по-соседски, мол.
- Ступай, по-соседски деньги неси!
- Да ведь что ж, Иван Степаныч, много ли она потравила? Сами изволите знать. Только что быдто находила.
- Вас, мошенников, учить надо.
- Учить, это точно, Иван Степаныч; только, кажется, мы тоже довольно учены.
- Нет, мало.
- Ну, теперь, позвольте, так будем говорить: ваша скотина зашла ко мне в огород.
- Ну и загоняй ее!
- Загнать недолго, да на что ж так-то?
- Как на что? Барин штраф заплатит.
- Ну, это тягайся там с вами еще! А незмай же я ей ноги переломаю, она лучше хо-

дить не станет.

— Вот ты поговори еще!

— Право слово, переломаю. Что, в сам деле?

— Ладно, брат. Толковать с ним. Очень нужно. Экой народишко подлый! То есть, я вам скажу, тут какую нужно дубину!..

— Неужели?

— Ей-богу. Помилуйте! Что это такое? Так набалованы! Так... Землю даром отдали. Э! да что уж тут... Вот она, рыга-то.

— Где рыга?

— А вон желтая, видите?

— Что же там?

— Машины. Земледельческие орудия... Даром деньги... Нет, одна ничего. Это штука любопытная, — грабли. Сейчас везет, везет, — раз! А, чтоб те! Англичане деньги берут. Нет, они хитрые анафемы, шут их возьми. Да. Молотилка такая есть, чудесная. Семьсот целковых... Все равно вот, — пушка. Захотел, куда хочешь. Вот шельмы-то! Занимательная штука. Ну, только тяжела, никуда не годится. Эй, Трофим, поди сюда! Это что у тебя в руке?

— Гвоздь.

— Ну, ступай!

Идут дальше. Солнце начинает припекать. Село. Старухи в синих платках сидят с детьми на завалинах; больной теленок лежит середь улицы, греется; нищий крадется стороной, и дребезжит его старческий голос:

— Родителей поминаючи, христа-ра-ади!

Письмоводитель ежеминутно останавливается, разговаривает с собаками, землю ковыряет палкой, ругается, а сам нет-нет и прихватит себя за мушку.

Идут селом прохожие, с лаптями и косами на плечах, идут молча, руками машут.

— Куда вы? — спрашивает их письмоводитель.

— На Дон, в казаки, — отвечает один прохожий.

— Сено косить, кормилец, сено, — проходя мимо, добавляет другой.

— Или у вас своего нету?

— У нас его отродясь не было, — на ходу отвечает третий.

— Ну, с богом, — говорит письмоводитель.

— Спасибо, родимый.

\* \* \*

Базарная площадь. В конце виден кабак, навесы для торговли, лавочка и дума[28]. Куры копаются середь площади; тишина, слышно, как свинья чешется об угол думы и вполголоса отрывисто похрюкивает.

Письмоводитель с гостем вошли в лавочку.

— Денис Иванычу, — говорит письмоводитель.

— Иван Степанычу, — не глядя, отвечает лавочник.

Он сидит на прилавке, в рубашке, в жилете и играет в карты с волостным писарем. Писарь в военном пальто и в резиновых калошах на босу ногу.

— Писчей бумаги! — спрашивает Рязанов.

— Есть. Пожалуйте! Алексей, покажи бумагу! Ходите, я вздавал. Вы зачем, Иван Степаныч?

— Бросьте вы карты-то! Что, в самом деле!

— Погодите. Игра тут у нас идет. Третий день хороводимся. Да чего вам требуется? Черви.

— Нашатырь есть у вас?

— Вам на что? Вали! вали!

— Для экономии.

— Это моя восьмерка. Что ты врешь? Для экономии?

— Да. Ну, что же, есть, что ли?

— Это нашатырь-то?

— Да.

Лавочник пристально смотрит себе в карты и говорит:

— Мда. Вот что! Для и-ка-но-омии. Так, так. Самая подлецкая игра. Без двух. А нашатырю, похоже так, что нету. Ну, вздавай! Еще чего-с?

— Да будет вам играть!

— Ну!

— Сургуча две палочки.

— Есть. Алексей, подай сургуча две палки конторского. Иван Степаныч, садитесь с нами играть.

— Ну вас!

— Что ж такое? Мы на орехи.

— И на орехи не стану.

— Экие скупые! А у вас непременно деньги есть. Мое почтение! — говорит лавочник кучеру.

Кучер молча подходит к прилавку и глядит на полки с товарами.

— Вам что? — спрашивает лавочник.

— Идей-то у вас тут была, я гляжу, зерьки-ла такая, круглая?

— А вон она.

Кучер берет зеркало и глядится в него. Письмоводитель роется в ящике с пряниками.

— Хороши, уж хороши! И глядеться нечего, — дружески говорит кучеру лавочник.

— Нельзя, — отвечает кучер. — Влюбиться хочу.

— Не говорите! Уж мы сейчас видим, который человек в веселом духе. Это горничная-то? Хм. Девочка ничего.

— Девка убедительная. Одно слово, чего извольте.

— Так, так.

— Беспременно надо влюбиться. Типерь, главная вещь, как-никак расстараться песенник достать.

Входит мужик.

— Денис Иваныч!

— Что ты?

— Отпустите!

— Дугу оставь!

— Как же я без дуги поеду? — помилуйте!

— А мне что? Вас, чертей, жалеть нечего. Ну, да ладно: бери дугу, скидавай зипун!

Мужик молчит, и все молчат, смотрят на него.

— М... вот что, — про себя говорит мужик.

Молчание. Письмоводитель на прилавке раскалывает гирею орех.

— Так-то, — произносит мужик и чешет в затылке. Одно плечо у него начинает понемногу опускаться, зипун сползает с плеча...

Остановка.

— Скидавай, скидавай! Нечего. Нынче, брат, не зима, не озябнешь.

Мужик вздыхает и шевелит губами, потом молча, потихоньку стаскивает зипун, бережно кладет его на прилавок и молча, в одной рубахе уходит.

— Ну, вздавай, — говорит писарю лавочник.

— Нет, я говорю, — подбирая карты, говорит лавочник.

— Да.

— Я говорю: эти мужичонки подлые... Типериче, как вы полагаете, сколько у меня за

ними денег пропадает? сейчас провалиться.  
Пас. Я за него подушные заплатил.

— Дела, — с орехом во рту, произносит  
письмоводитель.

— Вот по этой причине они мне все и под-  
вержены. Ходи!

— Ну вас совсем! Прощайте! — говорит  
письмоводитель.

— До приятного свидания.

\* \* \*

Вернувшись с базара, гость и письмоводи-  
тель расстались. Письмоводитель пошел в  
контору, а гость отправился в дом. Проходя по  
двору, он увидел у крыльца несколько баб и  
мужиков. В дверях стояла молодая женщина  
в утреннем капоте и внимательно осматрива-  
ла у одного мужика палец.

— Кто это? — спросил гость у лакея.

— Барыня.

— Гм.

Гость подошел к крыльцу.

Женщина, стоявшая в дверях, несколько  
растерялась, но сейчас же переломила себя и  
еще внимательнее припала к мужичьему  
пальцу.



— Погоди, вот я тебе спуска дам, — сказала она и вдруг вскинула глазами на гостя: он стоял прямо против нее и пристально смотрел ей в лицо.

Он поклонился, она тихо сказала «здравствуйте» и уже совершенно твердо продолжала говорить с мужиком:

— Да нет ли у тебя занозы?

— Кто ее знает. Нет, мотри, вряд.

— Так ты приложи вот это на тряпочку, а дня через два опять приходи сюда.

— Сюда опять притить — понаведаться?

— Да, да, сюда опять приди!

— Ладно, приду.

— А у тебя что?

На пороге стоял мужик на вид толстый, но бледный, и тяжело дышал.

— Чем ты нездоров?

— Я, матушка, всем нездоров, хвораю давно.

— Что же ты чувствуешь? Знобит, что ли, тебя?

— Нету; знобу такова нету, ну, и поту настоящего в себе не вижу.

— А ешь хорошо?

— Как хорошо! В неделю вот эдакой чашечки кашицы известь не могу. Брюхо-то у меня — ишь ты! — опухло. Хошь вшей на нем бить, так в ту же пору.

Гость взглянул на хозяйку: на лице у нее чуть-чуть передернуло один мускул, и опять все стало покойно, только она сейчас же торопливо спросила:

— Простудился ты, должно быть?

— Не знаю, родима, простудился ли, нет ли. Нет, так, должно, эта хворь пристала, с ветру. Утром встал, оглядел в себе ноги: — настоящие колоды, — опухли. И зачало меня дуть, зачало дуть пуще да пуще...

— *Оглядел в себе ноги...* — вполголоса повторил гость. — До этих пор он не знал, что у него ноги есть.

Хозяйка взглянула на гостя, сначала серьезно, потом как-то нерешительно улыбнулась и опять сделала серьезное лицо.

Гость постоял еще немного и пошел в дом. Он нашел Щетинина в кабинете с газетою у окна.

— Я к тебе заходил, — сказал Щетинин, — да мне сказали, что ты ушел куда-то.

— Да, я гулять ходил, — сказал гость, сядя на диван. — Ты рано встаешь?

— Часов в пять сегодня встал, проехался по хозяйству.

— Так ты не на шутку хозяйничаешь?

— Какие тут шутки. Нельзя, брат, нельзя.

— Да, — как будто размышляя, сказал Рязанов и потом прибавил: — зверь такой есть — бобр, зверь речной, обстоятельный зверь; ходит не спеша, все как будто о чем-то думает; шуба на нем дорогая, бобровая, и лицо точно у подрядчика. Так вот у этого зверя страсть какая? — все строить. Поэтому он так и называется — бобр-строитель, *Càstor fiber*. И теперь куда хочешь ты его посади, хоть на колокольню, дай ему хворостку, он сейчас начнет плотину строить. Вот он может о себе сказать, что ему без этого уж никак нельзя.

— Ну, да. Да что с тобой говорить: у тебя все смех. Пойдем-ка, брат, лучше чай пить. Вон и хозяйка пришла.

В столовой зашуршало женское платье и загремели чашки. Гость и хозяин вошли в столовую.

— Вот, рекомендую тебе, — сказал Щети-

нин жене, — друг и гонитель мой — Яков Васильевич Рязанов. Позвольте вас познакомиться.

Хозяйка остановилась на минуту с чайником в одной руке и протянула гостю другую.

— Да уж мы виделись, — сказала она мужу.

— Когда?

— Я сейчас застал Марью Николавну, — сказал гость, — там на крыльце недугующих исцеляла.

Марья Николавна слегка улыбнулась, но вслед за этим наморщила брови и сейчас же привела лицо свое в порядок.

— А вам это смешно? — спросила она, наливая чай, и понемногу начала краснеть.

— Нет, не смешно.

— Скажи, пожалуйста, — спросил Щетинин, положив руки на стол, — что это у вас в Петербурге все так, что вы не можете ни о чем серьезно говорить?

— Нет, не все, — совершенно серьезно сказал Рязанов и стал размешивать чай.

Помолчав немного, он как будто про себя повторил: — Не все.

И, рассматривая что-то в стакане, продол-

жал: — Нет, есть и такие, которые обо всем серьезно говорят. И даже таких гораздо больше. Я как-то одного встретил на улице, — я в баню шел; пора, говорит, нам серьезно приняться за дело. Я говорю: да, говорю, пора, действительно, говорю, пора. До свиданья. — Куда же вы? — говорит. — А в баню, говорю, омыться... — Да, говорит, у вас все шутки. Я серьезно... — Ну, что же делать? — вдруг спросил Рязанов, поднимая голову. — Ведь и я тоже серьезно ему отвечал, а он говорит: шутки.

— Что ты рассказываешь... — начал было Щетинин, но Рязанов продолжал:

— Нет, ведь это глядя по человеку. Один и серьезно говорит, а все кажется, что он это так, шутит; а вон Суворов пел петухом, однако никто этого в шутку не принимал, все понимали, что он в это время какую-нибудь серьезную каверзу подстраивает.

Марья Николавна пристально смотрела на гостя из-за самовара.

— Нет, в самом деле, — заговорил Щетинин, — я замечал, что Петербург как-то со всем отучает смотреть на вещи прямо, в вас

совершенно исчезает чувство действительности: вы ее как будто не замечаете, она для вас не существует.

— Да ты это насчет выкупных операций [29], что ли? — спросил Рязанов.

— Нет, брат, я о другом говорю. Я говорю о той грубой действительности, которая нас окружает и дает себя чувствовать на каждом шагу.

— Ну, еще это бог знает, — ответил Рязанов, — кто ее лучше чувствует. Всякому кажется, что он лучше.

— Поживи-ка, брат, здесь, да погляди на нас, чернорабочих, как мы тут с сырым материалом управляемся: может, взгляд-то у тебя и изменится. Так-то, друг, — прибавил Щетинин, хлопнув гостя по коленке.

— Может быть, — улыбаясь, отвечал Рязанов.

— Что ты смеешься? Ты погляди, вот я тебе покажу, что это за люди, с которыми нам приходится иметь дело.

— Да.

— Вот ты тогда и увидишь, что мы должны, мало того, что помогать им, но еще убеж-

дать и упрашивать, чтобы они нам позволили им же быть полезными.

— Мгм. Как это Гамлет говорит? — «Нынче добродетель должна униженно молить порок, чтоб он позволил ей...»[30]

— Да, брат, униженно молить порок... Я серьезно говорю. Если взялся за дело, так уж не до иронии.

— Какая тут ирония? Это уж филантропия, а не ирония.

— Ну, я не знаю, как это называется, а что вот меньший брат ко мне идет, это я знаю, — говорил Щетинин, глядя в окно. — И еще знаю, что сейчас он будет просить, чтобы я ему телушку его отдал, а я не отдам.

— Почему же? — спросила Марья Николаевна.

— А потому, что так нужно.

Щетинин наскоро допил стакан и вышел в переднюю. Дверь из столовой осталась незатворенною.

— Здравствуй! Что тебе нужно? — спросил он у мужика, вошедшего в то же время из сеней.

Мужик поклонился.

— К вашей милости...

— Зачем?

— Да все насчет того дела. Батюшка, Ликсан Василич!

Мужик стал на колени.

— Это ты все о телушке-то пристаешь? Встань, братец, встань! Как тебе не стыдно? Сколько раз я вам говорил, что это скверно. Я с тобой и говорить не буду, пока ты не встанешь.

Мужик встал.

— Ну, слушай! Пойми, что мне твоих денег не нужно: я от этого не разбогатею. Я беру с тебя штраф для твоей же пользы, для того, чтобы ты был вперед осмотрительнее, зря не распускал бы скотину. Сами же вы благодарить будете, что вас уму-разуму учат.

— И так много довольны, батюшка, Ликсан Василич. Благодарим покорно!

— Ну, вот видишь! Понимаешь теперь, что это для твоей же пользы?

— Понимаем-с.

— Ну, а коли понимаешь, стало быть и толковать нечего. Я тебе покажу, что лишнего ни одной копейки с тебя не требуют. Вот распи-



сание — видишь? Печатное расписание от министра, сколько следует брать за потраву. Вот за корову, с первого июня по первое июля — рубль пятьдесят копеек...

— Тэк-с.

— Да за прокорм за трои суток по двадцати копеек — шестьдесят копеек, всего два рубля десять копеек. Так ведь?

— Это так точно.

— Пожалуй, на счетах прикинуть можно.

— Нет, что уж прикидывать.

— Ну, так чего же ты еще от меня хочешь?

— Мы ничаво... А как теперь насчет того, то есть пуще сумляваемся, что быдто не по-суседски...

— Не по-суседски! да ведь я тебе говорил.

— Это так-с.

— Закон. Понимаешь? — закон.

— Слушаю-с.

— Так что ж я могу сделать? Ну?

Мужик молчал. Из столовой Рязанов, положив бороду на спинку стула, смотрел на эту сцену; Марья Николавна задумчиво катала из хлеба шарики.

— Прикажете за себя вечно бога мо-

лить! — вдруг сказал мужик и опять упал на колени.

Щетинин плюнул и ушел. Мужик еще несколько минут постоял на коленях, поглядел, поглядел, вздохнул и пошел по двору шаг за шагом, держа шапку в обеих руках.

— Ну, что? как меньший брат? — спросил Рязанов.

Марья Николавна заперла сахарницу и вышла в другую комнату. Щетинин походил из угла в угол, отворил окно.

— Черт знает, духота!.. Свинья — меньший брат, вот что я тебе скажу.

— Нет, я вижу, ты еще не умеешь молить порок, чтобы он тебе позволил... оштрафовать себя, — сказал Рязанов, сидя за столом.

— Такая дрянь мужичонка! — продолжал между тем Щетинин. — Когда ему что-нибудь нужно от меня, — ходит, клянит, ноги целует, а случись так, что мне понадобится купить у него десяток яиц, так он готов рубашку снять.

— Это основательно. Ну, а другие-то как? — хорошие?

— Если правду сказать, так и другие тоже

со всячинкой: да не в этом дело. Мы сами виноваты. Нужно внушить им больше доверия, нужно, чтобы мы сами к себе были строже, тогда и они будут...

— Дешевле брать за яйца? Вероятно.

— Нет, будут строже к себе.

— Да будут ли?

— Конечно, будут.

— С какой стати?

— А с такой стати, что сами увидят.

— Что?

— Да что так лучше.

— А сам-то ты веришь, что так лучше будет?

— Еще бы! Что ты на меня смотришь? Какой же бы я был работник, если бы не верил в успех того дела, для которого работаю?

— То есть это — уверенность в невидимом, как бы в видимом, и в желаемом и ожидаемом, как бы в настоящем[31]. М-да, это приятно.

Щетинин, ничего не отвечая, стоял у окна и задумчиво смотрел на двор, потом, опомнившись, сказал:

— Да. Там постройка: нужно съездить...

Маша!

Марья Николавна вошла в столовую, Рязанов отправился на балкон.

— Я уеду теперь, — говорил Щетинин жене, — тут придет ко мне баба, так ты... поговори с ней.

— О чем же поговорить?

— Да она там тебе все это скажет сама. Ну, увидишь.

— Хорошо.

— Ты с ней хорошенько поговори. Знаешь, как ты *хорошо-то* говоришь.

Марья Николавна улыбнулась.

— А разве я когда не хорошо говорю?

— Нет, всегда, всегда. Умный ты мой! Ну, целуй меня!

К крыльцу подали беговые дрожки.

\* \* \*

Рязанов стоял на балконе и смотрел в сад.

Прямо против него, сквозь зеленую чащу акаций виднелась старая с провалившейся крышей беседка, вся заросшая репейником и крапивой; дальше яблони цвели. За садом белела колокольня, а потом все луга, воды, сверкающие на солнце, зеленые холмы, и опять

луга. В саду становилось жарко; только из кустов время от времени налетали тихие струи пахучей прохлады, вместе с торопливым щебетаньем притаившейся под кустом малиновки.

Рязанов постоял на балконе и пошел бродить по саду. В одной аллее попался ему старик садовник, в белой рубашке, с белою бородою и с пучком салата под мышкою. Садовник снял картуз и низко поклонился. В кустах мелькнуло загорелое детское лицо со стручком во рту, но исчезло сейчас же, как только Рязанов взглянул на него; вслед за этим раздался по саду писк — и пятеро ребятшек кинулись со всех ног в малинник. Позади всех бежала отставшая от прочих маленькая девочка, плача и крича во все горло: «ма-а-а». На пруду дворовая женщина полоскала белье. Заметив Рязанова, она подоткнула себе подол и, не оборачиваясь, поклонилась ему задом. Притаившиеся под берегом утки шумно бросились в воду...

Рязанов пошел было к себе во флигель, но, в то время, как он проходил мимо дома, ему вдруг послышалось, что в сенях кто-то пла-

чет. Он вошел на крыльцо. В сенях стояла Марья Николавна и разговаривала с крестьянскою бабою. Баба плакала, да и Марья Николавна имела расстроенный вид, но, желая скрыть свое смущение, она сказала Рязанову:

— Вот послушайте-ка, что она рассказывает.

Рязанов остался, но баба, не обращая на него никакого внимания, продолжала всхлипывать, говоря:

— Я яму баила: ты хушь бы людей-то постыдился...

— Ну, а он-то что же? — спросила Марья Николавна.

— А он бат: чаво, бат, мне их стыдиться? Я, бат, перва у те косу всю вытаскаю, посля и зачну стыдиться.

— Мгм, — сделал Рязанов.

— Да уж что, сударыня, — продолжала баба, сморкаясь в рукав. — Что уж говорить. Наше дело, известно, круг ребяенок убиваисси, а им что: озорство только у него на уме одно, мудрит над нашей сестрой. Ишь, они мудрецы какие!

— За что ж он тебя бьет, я все-таки не по-

нимаю? — сказала Марья Николавна.

— За что? — переспросила баба. — Захотели вы, сударыня, у мужика понятия. Нешто он скажет, за что. Яму баба все одно вот — тьфу. Под руку подвернулась — хлоп. Уйди, говорит, ты от меня, постылая!..

Баба нагнулась и концом фартука утерла слезы.

— На кой, — говорит, — ты мне ляд таперя? Не видал нешто я дохлых-то? Только, — говорит, — ты на то и годисси, ворон пужать.

— Он тебя не любит, — тихо заметила Марья Николавна.

— Как не любить! Чаво ж яму еще? Я, чай, яму не чужая. Любить! Известно, где яму меня любить! Вон у меня грудь заложило, ни поднять, ни что. Что ж, нешто я этому рада, что я чижолая?

— Да-а! Вот оно что, — сказал Рязанов и пошел во флигель.

\* \* \*

К обеду вернулся Щетинин с хутора, весь в пыли, усталый; снял галстук, выпил рюмку водки и молча сел за стол.

— Ну, что постройка — идет? — спросила

его Марья Николавна.

— Идет, — нехотя ответил Щетинин. — Измучился я, как собака, — немного помолчав, сказал он и положил ложку на стол. — Такие скоты эти плотники! То сделали, что теперь нужно опять нижние венцы подымать. Они, знаешь, их не переметили как следует и перепутали: ну, и вышла такая гадость, что смотреть скверно: одно бревно так, другое эдак. Самый лучший лес у меня тут был наготовлен — они его весь испакостили. Теперь понимаешь, какая работа: опять сызнава перекладывать весь сруб. Черт их возьми! Уж я ругал их, ругал... Мошенники! Ах, я и забыл, что ты здесь сидишь.

— Ничего, не стесняйся, — ответил Рязанов, продолжая есть.

— Нет, в самом деле, изо всякого терпения выводят.

— Ну, конечно, — заметил Рязанов.

— Посуди ты сам, — продолжал Щетинин, — я им плачу почти вдвое, нежели сколько бы они получили у другого; потом, кроме того, мои харчи и притом жалованье плачу помесечно.



— Да?

— Пришли ко мне оборванные, в ногах валяются: «Отец родной, есть нечего, дай работы!» Ну, сжалился, взял их, одел, обул, за двоих подушное внес, вперед дал по целковому...

— И такая неблагодарность!..

— Нет, ведь что же? Стараешься, в самом деле. Уж, кажется, я ли для них не старался; а они вон какую штуку со мной сыграли. Они ведь этого и знать не хотят, что я по их милости убытку пятьдесят целковых понес. Далек, видишь ли ты, бревна лежат, так им лень таскать. А? Как это тебе нравится?

— Нехорошо. Это с их стороны неблагородно, — сказал Рязанов, утирая салфеткою рот.

— Нет, серьезно?

— Чего ж тут. Понятное дело, что такого поступка одобрять нельзя.

— Ну, вот видишь. Так теперь ты скажи, имел ли я право назвать их мошенниками?

— Нет; мошенниками называть их ты права не имел.

— Почему?

— А потому, что этого тебе законом не предоставлено. Мало бы ты чего захотел. Это-

го нельзя. Ведь они уж вышли из крепостной зависимости?

— Вышли.

— Ну, так как же? Нельзя. Личное оскорбление. А вот к становому — это другое дело.

— Я этого вовсе не желаю.

— А не желаешь, тогда лучше всего прямо войти с жалобой к посреднику, дабы повелено было на основании и так далее. Вот это уж всего вернее и... приличнее, чем ругаться-то.

— Ах, да нет. Ты это...

— Ты думаешь, не взыщут? Нет, брат, теперь уж не те порядки пошли. Все до последней копейки взыщут.

— Что ты говоришь!..

— Не отвертятся, не беспокойся.

Марья Николавна все время с напряжением следила за разговором и беспокойно взглядывала то на Рязанова, то на мужа; наконец, она не выдержала и, краснея, спросила взволнованным голосом:

— Да разве это хорошо жаловаться в суд?

— А вы находите, что нехорошо? Почему же-с? — добродушно спросил Рязанов.

— А потому что... их там наказывать бу-

дут... я не знаю...

— Ну, так что же-с?

— Как — ну, так что же? Их посадят в тюрьму... вообще это...

— Может быть, и посадят. Если увещания не подействуют и мерами кротости нельзя будет их склонить.

— Но ведь они бедные. Вы забываете... откуда же они возьмут пятьдесят рублей?

— Ежели наличных денег не имеют, то, может быть, окажется движимость, скот...

— Ну, и...

— Продадут-с. Что ж им в зубы-то смотреть.

— Да ведь я не знаю, что такое... это варварство!..

— Очень может быть-с.

— Так как же вы предлагаете такие средства?

— Я никаких средств не предлагаю, я только напоминаю.

— Что же вы напоминаете?

— Я ему напоминаю его обязанности. Всякое право налагает на человека известные обязанности. Пользуешься правом — испол-

ный и обязанности.

— Какие обязанности! Вы ему напоминаете, что он может, если захочет, злоупотреблять своим правом?

— Нисколько-с. Напротив; я ему напоминаю только о том, как следует благоприобретать, а злоупотребляет уж это он сам.

— Разве это злоупотребление, если он прощает этих плотников?

— А вы как же думали? Конечно, злоупотребление. Если бы он один только пользовался правом карать и миловать, тогда бог с ним, пусть бы его делал, что хотел. Если ему бог дал такую добрую душу, так что ж тут разговаривать? Хочешь идти по миру, ну и ступай. Но вы не забывайте, что нас много, что он, оставляя безнаказанными разных мошенников, поощряет их на новые мошенничества и подает губительный пример. А от этого мы все страдаем: он портит у нас рабочие руки.

Щетинин задумчиво смотрел в тарелку и водил по ней вилкой.

— Ну, хорошо еще, — продолжал Рязанов, — что я вот могу жить так, ничего не де-

лая; но если бы я был рабочая рука, да я бы... я бы непременно испортился. Я бы сказал: а! так вот что! Стало быть, можно делать все, что хочешь? Пошел бы в кабак: эй! братцы, рабочие руки, пойдёмте наниматься в работу! Сейчас пошли бы мы, нанялись к кому-нибудь сад сажать, набрали бы денег вперед, потом взяли бы насажали деревья корнями вверх, а дорожки все изрыли бы и ушли. Ищи нас! Что ж, разве это хорошо?

— Бог тебя знает, — наконец сказал Щетинин, — для чего ты все это говоришь.

— А для того и говорю, что не хочу тебя лишиться дружеских советов. Вижу я, что друг мой колеблется, что ему угрожает опасность, что он может сделаться жертвою собственной слабости, да и нам всем напакостит; ну, вот я и не могу воздержаться, чтобы не напомнить ему, я и говорю: друг, остерегись! не поддавайся искушению, не поблажай беззаконию, ибо оно наглým образом посягает на нашу собственность. Священное право поругано, отечество в опасности... Друг, мужайся, говорю я, и спеши препроводить обманувшие тебя рабочие руки в руки правосудия...

Щетинин засмеялся, Марья Николаевна нерешительно улыбалась, а лакей, стоя поодаль с чистою тарелкою в руке и нахмулив брови, исподлобья посматривал то на того, то на другого и, по-видимому, ничего не мог понять.

— Вот ты говоришь: препроводить, — начал Щетинин, — ну, хорошо; а что бы ты сказал, если бы я в самом деле так поступил?

— Что бы я сказал? Я сказал бы: вот прекрасный хозяин! и гордился бы твоею дружбою. И еще бы сказал: это человек последовательный; а лучшей кто бы мог хвалы тебе сказать?

— Так-то оно так, — со вздохом сказал Щетинин, — да... да нет, брат, я нахожу, что в некоторых случаях надо поступать непоследовательно. Маша, налей-ка мне квасу.

— Да. Ну, это как ты хочешь. Разумеется. Я тебя принуждать не буду; только уж...

— Да нет, видишь ли, — перебил его Щетинин, — шутка-то в том, что в практическом деле такая строгая последовательность невозможна. Этого нельзя и требовать.

— Ну, да. С нас нельзя требовать, а с плот-

ников можно. Это так.

— Нет, неправда. Этого и сравнивать нельзя.

— Почему же?

— А потому, что прежде всего у них нет никакой определенной цели, к которой бы они стремились.

— Вот что! Из чего же ты это заключил? Любопытно знать!

— А из того, что я вижу всякий день.

— Например?

— Они только о том и стараются, чтобы как можно меньше работать и в то же время как можно больше получать.

— Мм. Что ж, это, по-моему, цель довольно определенная. Какой же тебе еще? Ты ведь, кажется, говорил, что у них нет никакой?

— Да разве это цель?

— Что же это такое?

— Это там, черт знает что, какое-то бессознательное стремление.

— Стремление! Стремление обыкновенно предполагает и цель. Ну, да хорошо, положим, стремление, и притом бессознательное. К чему ж они стремятся? К тому, вот как ты

говоришь, чтобы как можно меньше работать и как можно больше получать. Ты находишь, что это стремление нехорошее. Ну, а теперь позволь тебя спросить: ты сам-то к чему же стремишься? К тому, чтобы как можно больше работать и как можно меньше получать? Так, что ли?

— Н-не...

— Ну, так что ж тут разговаривать еще! Стало быть, стремления-то у нас с ними одни и те же; разница только в том, что мы сознательно желали бы их приспособить к нашему хозяйству, они же, как все глупорожденные, бессознательно упираются и всячески стараются схитрить. Ну, а на этот случай у нас средства такие имеются для понуждения их, средства, к народным обычаям приноровленные. Вот в древние века нравы были грубые — тогда и орудия, которыми понуждались глупорожденные к труду, тоже были неусовершенствованные, как то: исправники, становые и прочие, теперь же, когда нравы значительно смягчены и сельские жители вполне сознали пользу просвещения, — понудительные меры употребляются более дели-



катные, духовные, так сказать, а именно: увещания, штрафы, уединенные анбары и так далее. Вот и хороводимся мы таким манером и долго еще будем хороводиться, доколе мера беззаконий наших не исполнится. Только зачем же тут церемониться-то уж очень, нюни-то разводить зачем, я не понимаю? Штука эта самая простая, и весь вопрос в том, кто кого; стало быть, главная вещь, не конфузья...

— Убирай, — вставая из-за стола, сказал Щетинин лакею.

Вечером, часу в восьмом, дня через два по приезде, шел Рязанов берегом реки. Песчаная дорога, по которой он шел, извивалась между кустами и вела на мельницу. По ту сторону круто поднимался каменистый обрыв, поросший красноватым орешником, вперемежку с мелким курчавым дубом. С отлогого берега видна была серая, изрытая дорога, смело вьющаяся в гору, зеленая крыша водяной мельницы и барская усадьба, до половины сидящая в зелени. Солнца уже не было, только крутой берег реки весь был залит красноватым светом. В кустах сильно пахло сыростью и камышом.

Рязанов шел потихоньку, глубоко погружая ноги в похолодевший песок. Позади него зашуршали колеса, он оглянулся. В кустах двигалась лошадиная морда с дугой, дальше показался мальчик в большом картузе и, наконец, батюшка, в зеленой рясе и в шляпе с широкими полями.

Батюшка ехал в полевых дрогах и, поравнявшись с Рязановым, спросил:

— Никак опять за рыбой ходил?.. Ах, извините! Ошибся. Представилось мне, что это конторщик, — говорил батюшка, снимая шляпу.

— Мое почтение, — сказал Рязанов.

— Добрый вечер. Да вы не к господину ли Щетинину? Так прошу покорно садиться. А я, признаться, тоже было хотел его повидать.

Рязанов сел. Поехали.

— Вы, верно, приезжие? Ну, так. А я гляжу, гляжу, что такое? — ошибся. Ха, ха, ха! Вот прекрасно! Из Саратова?

— Нет, из Питера.

— А! Столичные жители. Погостить вздумали в наши места?

— Погостить.

— Мгм. Прекрасное дело. Имя ваше?

— Иаков.

— Да, да, Иаков, брат господень. По отчеству?

— Васильич.

— Яков Васильич. Да. Ну, так как же, Яков Васильич, в Питере-то дом свой имеете?

— Нет, не имею.

— Квартирку нанимаете?

— Нанимаю.

— Служите небось?

— Нет, не служу.

— Да. Не похотели?

— Не похотел.

— Что ж? конечно, не всякому. Капитал у себя имеете?

— Нет, не имею.

— Звания дворянского?

— Духовного.

— Ну?!

Батюшка обернулся.

— Так вот-с. Очень рад. Будьте знакомы.

Въехали на плотину. Около мельницы стояли лошади и мужики, обсыпанные мукою; вода глухо шумела в колесах, в пруду копошились утки; дроги попрыгивали по кочкам. Становилось темно; Рязанов сидел рядом с батюшкою; волосы от батюшкиной бороды развевало ветром, и во время разговора они беспрестанно попадали Рязанову в рот. Батюшка спрашивал между тем:

— По первому разряду кончили курс? В попы-то что ж не посвятились? Неужто невесты не нашли?[32] А? Да; не похотели.

Дроги въехали на барский двор; у крыльца толпились мужики, перед ними стоял Щетинин с тетрадкою в руке и говорил, поднося одному из них к носу карандаш:

— Если я вам еще вот хоть эдакий прутик продам, так я себе позволю в глаза наплевать.

— Что ж, Ликсан Васильич! — загалдели мужики.

— Нет, голубчики, будет с меня! поучили уж; довольно. А, здравствуйте, батюшка!

— Мое вам почтение, — говорил батюшка, входя на крыльцо и подбирая рясу. — Во имя отца и сына и святого... Что это, никак они опять вас тово... обманули?

— Что уж тут!..

Щетинин махнул рукою.

— Скажите пожалуйста! Да это крюковские. Вы крюковские, что ли?

— Они самые, — нехотя отвечали мужики.

— Ну, так. Знаю я их до тонкости. Как же. То есть такие, я вам скажу, в высшей степени плуты.

Мужики равнодушно смотрели на батюшку; один кашлянул в шапку.

— Ты что там кашляешь? — вдруг спросил

батюшка. — Ты, любезный, от меня не скро-  
ешься. Вот извольте, — продолжал он, обра-  
щаясь к Щетинину, — с этим самым мужич-  
ком... Как тебя звать: Семеном, что ли?

— Семеном.

— Да, вот с Семеном-то с этим задумал я  
прошлый год пчел держать пополам. Соблаз-  
нил меня, мошенник. Согласился. Согласен,  
говорю... А ты поди сюда! куда ты прячешь-  
ся?.. Ну, хорошо. Я еще говорю: смотри, гово-  
рю, Семен... Будьте покойны! Прекрасно. Я,  
признаться, и понадеялся на него. Предста-  
те: надул ведь! то есть так аккуратно надул,  
как лучше требовать нельзя. Вот этот самый  
мужичонка! Лицемер такой... Я господину по-  
среднику на него жалобу принести хочу.

— Позвольте, батюшка, — начал было му-  
жик.

— Не лги! Я знаю, что ты лжец. Да чего  
тут, — в глазах обманул, в глазах. Ты, любез-  
ный, меня этим обидел до крайности: духов-  
ного отца своего обманул. А? Извольте радо-  
ваться.

— Идите чай пить, — выходя на крыльцо,  
сказала Марья Николавна.

Все собрались в столовой вокруг самовара: Марья Николавна намазывала масло на хлеб, Щетинин сел было за стол, но потом опять встал, взял записную книжку и начал что-то записывать; Рязанов барабанил пальцами по столу. Батюшка молча рассматривал подсвечник.

— Дорого дали? — наконец, спросил он Марью Николавну.

— Не знаю. Это вот он.

— Что такое? — глядя в книжку, спросил Щетинин.

— Подсвечники батюшка спрашивает.

— Дороги ли? — прибавил батюшка.

— Рублей пять, кажется, — скороговоркою ответил Щетинин.

— Искусно, — заметил батюшка, ставя подсвечник.

— Два рубли восемь гривен, да рубль семьдесят две, да полтина... — бормотал про себя Щетинин.

— Какие ныне сена богатые, — немного помолчав, сказал батюшка, но, не встретив ни в ком сочувствия, обратился к Рязанову:

— А у вас, Яков Васильич, там сено-то небось... Тоже, чай, покупаете когда?

— На что мне его?

— Стало быть, лошадок не держите?

— Нет, не держу.

— Да, да. Ну, муку-то все покупаете. Почему мука-то у вас?

— А бог ее знает, почему она там, мука. Я в это не вхожу.

Марья Николавна улыбнулась.

— Что вы с ним, батюшка, об этих вещах разговариваете! — спрятав книжку в карман, заговорил Щетинин. — Ведь он... вы думаете, он это знает что-нибудь. Он надо всем этим смеется.

Батюшка бросил на Рязанова беспокойный взгляд.

— Да я что ж... ведь я не что-нибудь такое спросил... обыкновенно... Что ж смеяться... Пожалуй, смейся.

— Вы его не знаете.

— Да нет, позвольте! Я ничего худого не говорил. Ведь если бы я спросил что-нибудь такое непристойное; а то ведь вот я при вашей супруге... Марья Николавна слышали. Кажет-



ся, я довольно скромно спросил: — почему, — говорю, — у вас в Санктпетербурге мука?

— Зачем ты нас с батюшкой хочешь поспорить? — сказал Рязанов. — Мы только что познакомились, а ты уж сейчас и вооружаешь его против меня. Это нехорошо.

Марья Николаевна поспешила замять это объяснение и торопливо начала:

— Батюшка, ко мне тут сегодня одна баба приходила.

— Да-с.

— Она жалуется, что муж ее не любит.

— Сс.

Батюшка принял озабоченный вид.

— Да, это несчастная женщина, — сказал Щетинин.

— Скажите!

— Я с вами давно хотел об этом поговорить. Она все ко мне ходит, да посудите сами, что же я-то тут могу сделать?

— Ну, конечно. А уж лучше же ей прямо, коли так, к господину посреднику обратиться.

— Вот и я тоже полагаю, — заметил Рязанов. — К посреднику. Это его прямая обязанность.

— Натурально, — подтвердил батюшка.

— Нет; вот видите ли, батюшка, — не слушая, продолжал Щетинин, — я думаю, что вы могли бы как-нибудь подействовать увещаниями, что ли...

— То есть как-с?

— То есть на мужа этой женщины.

— Да; увещаниями... Что ж? Ничего-с. Извольте. Это можно.

— Попробуйте-ка, в самом деле!

— С моим удовольствием. Оно, конечно, как знаете, эта самая грубость ихняя, ну, а впрочем...

— Вот ты с своей гуманностью, — сказал Рязанов Щетинину, — только под ответственность батюшку подведешь.

Батюшка с беспокойством посмотрел на Рязанова, потом на Щетинина.

— Батюшка — врач душевный, а тут дело-то, брат, уголовное.

— Как так?

— Да штука-то она очень простая: бьет, видите ли, мужик бабу, и за то он ее бьет, что она брюхата; понятно, что из этого может впоследствии.

— Хм! Дело дрянь, — подумав, сказал батюшка.

— То-то и есть, — подтвердил Рязанов.

— Да нет, однако, это ведь черт знает что такое! — бросив ложку на стол, сказал Щетинин. — Что же, по-твоему, стало быть, так и позволить ему бить эту женщину, сколько угодно?

— Да как же бы ты не позволил? любопытно знать.

— Очень просто...

— Ну-ка! Сообщи, сделай милость, а мы с батюшкой послушаем.

— Да чего тут! Взять ее от него, — и конечно.

— Вы как это находите? — спросил Рязанов у батюшки.

— Нет, это вы действительно, Александр Васильич, — смеясь и добродушно хлопая Щетинина по коленке, сказал батюшка, — это вы немножечко тово... неправильно. Нет, не-не-неправильно... А вот я вас, Александр Васильич, — вставая из-за стола, продолжал он, — хотел побеспокоить насчет того дельца.

— Какого дельца?

— А то есть насчет сена-с.

\* \* \*

После чаю Марья Николавна ушла в залу и начала играть на рояле какие-то вариации; Рязанов, засунув руки в карманы, стоял на террасе; Щетинин, задумавшись, прохаживался с батюшкою по зале; в гостиной горела лампа. Батюшка говорил, разводя руками:

— Ничего не сделаешь. Ежели бы они понимали что-нибудь, а то ведь, ей-богу, и грех и смех с ними иной раз. Вот вы говорите: убеждение-то. Да. Сижу я однажды в классе и спрашиваю одного мальчику (да и мальчонка-то, признаться, возрастнй уж), кто, говорю, мир сотворил? а он отвечает мне: староста, говорит. Вот извольте!

Щетинин на это ничего не сказал.

— Нет, я господина Шишкина всегда вспомню, — продолжал батюшка. — Прямо надо сказать, умный был помещик и такое ко храму усердие имел, даже это диковина.

— Мгм... — рассеянно произнес Щетинин.

— Теперь у него, бывало, мужики все дочиста у обедни. Как ежели который чуть позамешкался — в праздник на барщину! А вы

как думаете: не скажи им, так ведь они лба не перекрестят. Эфиопы настоящие.

Марья Николавна закрыла рояль и, подходя к ним, спросила:

— Батюшка, как вам нравится этот вальс?

— Штука изрядная, — ответил батюшка.

Помолчав немного, все трое вышли на террасу.

В саду стояла теплая весенняя ночь, с бледно-голубыми звездами на потухшем небе. Сквозь прозрачный туман виднелись едва заметные призраки берез и вьющиеся между ними песчаные дорожки. Какая-то непонятная тишина подступала все ближе и ближе, застилая кусты и деревья и поглощая тревожный шелест и робкий шорох ветвей.

Вошедшие на террасу люди молча остановились перед темным садом и, как будто охваченные этою мрачною тишиною, долго прислушивались к чему-то.

— Боже, боже мой, — наконец, вздохнув, сказал батюшка и, посмотрев на небо, прибавил: — Премудрость.

— Что вы сказали, батюшка? — спросила Марья Николавна.

— Премудрость, говорю-с.

— Да. А я думала...[33]

— Нет-с, вот что господин Рязанов скажет, — заговорил батюшка. — Где вы тут? Не видать. Вот-с, — продолжал батюшка, отыскав Рязанова, — вот вы смелы очень на слова-то...

— Ну, так что же?

— Нет, я заметил, вы сердцем ожесточены. А помните, о жестоковыйных-то[34] что сказано? То-то вот и есть. Смеяться умеете, а хорошего-то вот и не знаете. Стало быть, забыли, чему учились.

— Да ведь где же все упомянуть? Мало ли чему нас с вами учили.

— То-то, погодить бы смеяться-то; книжку бы сперва протвердить.

— И рад бы протвердить, — говорил Рязанов, всходя по ступенькам на террасу, — да все некогда.

— Да не закусить ли нам, господа? — вдруг заговорил Щетинин.

## IV

Прошла еще неделя. Ни в занятиях, ни в образе жизни Щетининых не произошло никакой существенной перемены.

Рязанова в доме почти не слышно было: он с утра уходил куда-нибудь в поле; или взбирался на гористый берег реки и с книгою просиживал под деревом до обеда; или уезжал с крестьянскими мальчишками на острова и, сидя в камыше, по целым часам смотрел, как они ловят рыбу; иногда заходил в лавочку. После обеда туда обыкновенно многие заходили посидеть: волостной писарь, из дворовых кто-нибудь, а то дьячок, заплетет косу и зайдет. Вот сойдутся человека три, и в карты. Сидит Рязанов в лавочке на пороге и смотрит на улицу. Жара смертная; на двери балык висит, а жир из него так и течет, мухи его всего облепили; в лавочке брань идет из-за карт.

— Сейчас дозволю себе пять плюх дать! — кричит лавочник.

— Какое ты имеешь полное право в карты глядеть? — спрашивает писарь.

— Я не глядел.

— Нет, глядел.

— Подлец хочу быть.

— Ты и так подлец.

— Ну-ка-ся, — говорит проезжий мужик, держа стакан.

Мальчик наливает ему водки. Мужик крестится и собирается пить. Вдруг в стакан попадает муха.

— Ах, в рот те шило, — говорит мужик, доставая муху. — Вот, братец мой, хрест-от даром пропал.

— Это твое счастье, муха-то, — замечает мальчик.

— И то, брат, счастье. Оно самое мужицкое счастье — муха. Ох, и сердита же только эта водка, — кряхтя и отплевываясь, говорит мужик.

\* \* \*

Вечером, возвращаясь домой, Рязанов обыкновенно заставал в конторе кучу баб и девок, с которыми письмоводитель рассчитывался по окончании работы и при этом всегда сердился, спорил и ругался. Через перегородку слышно было, как бабы шептались, фыркали и толкали друг дружку; Иван Степаныч



(письмоводитель) кричал на них:

— Эй вы, дуры! Что вы играть, что ли, сюда пришли?

— Чу! чу! — унимали бабы одна другую.

— Ну, много ли вас на десятине пололо? А ты зачем сюда пришла? Ведь тебе сказано! Эй ты, как тебя? Анютка! Где у тебя книжка? Ишь, подлая, как запакостила. Гляди сюда! Кто гряды копал? Ты, что ли?

— Иван Степаныч!

— Ну!

— Погляди у меня в книжке.

— Я те погляжу! Муж-то у тебя где?

— В солдатах.

— Чего тебе там смотреть?

— А это что такое?

— Это? — *Траспор*. Поняла? Дура! Ничего ты не знаешь. Поди стань у печки.

— Иван Степаныч, чаво я тебя хочу спросить.

— Спрашивай!

— Таперь ежели я мальчика рожу, что яму...

— Пошла вон!

Кончив расчеты с бабами, Иван Степаныч

иногда заходил к Рязанову и сообщал ему новейшие политические известия в таком роде:

— Газеты читали? Генерал Грант получил подкрепление. Еще извещают, что генерал Мид перешел Рапидан и настиг главные силы генерала Ли[35]. Вот опять чесать-то пойдет. Ах, черти! Ну, только им против майора Занкисова далеко.

— Ну, конечно, — подтверждал Рязанов.

— В «Московских ведомостях» описано: весь в белом, и лошадь белая, несется впереди, а белый значок позади. Сейчас налетит — раз!.. Из Петербурга дамы прислали письмо: Кузьма Иваныч, сделайте ваше одолжение, наслышаны, так и так, обо всех доблестных делах... — все удивление и признательность... Со значком среди опасностей боя... будьте так добры, говорят, вот нашей работы... от души преданные вам дамы.

— Мгм. Это хорошо, — говорил Рязанов.

— Нет, слышите, какая штука-то: там этот жонд весь ихний — к чертям!.. а эти самые гмины ихние, что ли, — черт их знает — говорят: вот, говорят, теперь свет увидали. А? Нет, ведь хитрые, анафемы. Да. А еще в деревне

Граблях крестьянин Леон, двадцати лет, надев овечью шубу шерстью вверх, вечером отправился в дом Семена Мазура, а он его хлоп из ружья. Вот оглашенные-то! Ха, ха, ха! Чем занимаются? а? Тоже небось солтыс какой-нибудь. Гха! Солтыс! А то еще войт у них бывает. Войт...[36]

\* \* \*

Разговоры за обедом и за чаем с каждым днем становились все короче и короче. Самое ничтожное обстоятельство, самый ничтожный случай сейчас же становился темой для разговора, и всякий разговор неминуемо кончался спором, во время которого Щетинин разгорячался, а Марья Николавна с напряженным вниманием и с беспокойством ловила каждое слово и, видимо, не удовлетворенная спором, уходила в сад или просиживала по целым часам в своей комнате, глядя на одно место. Встречаясь с Рязановым наедине, она пробовала заговаривать с ним, но из этого обыкновенно ничего не выходило. Она спросила его один раз:

- Вы, должно быть, презираете женщин?
- За что-с?

— Я не знаю; но, судя по вашим разговорам, я думала...

— Нет-с, — успокоительно отвечал он. — Да я и вообще никого не презираю.

Так разговор ничем и не кончился: Рязанов стал глядеть куда-то в поле, а Марья Николавна постояла, постояла, посмотрела на его жидкие длинные волосы, на кончик галстука, странно торчащий вверх; поправила свою собственную прическу и ушла.

В другой раз она встретила его в саду с книгою.

— Что это вы читаете? — спросила она Рязанова.

— Так, глупая книжонка.

— Зачем же вы ее читаете, если она глупая?

— На ней не написано: *глупая книга*.

— Ну, а теперь, когда уж вы знаете?

— Ну, а теперь я уже увлекся, мне хочется знать, насколько она глупа.

Марья Николавна немного помолчала и нерешительно спросила:

— Скажите, пожалуйста, ведь вы... вы не считаете моего мужа глупым человеком?

— Нет, не считаю.

— Так почему же вы с ним никогда не соглашаетесь в спорах?

— А потому, что нам обоим это невыгодно.

— Почему же ему невыгодно? — торопливо спросила Марья Николавна.

— Спросите его сами.

— Я непременно спрошу.

Она сорвала ветку акации, начала быстро обрывать с нее листья и, сама не замечая, бросать их на книгу. Рязанов молча взял книгу, стряхнул с нее листья и опять принялся читать. Марья Николавна взглянула на него, бросила ветку и ушла.

\* \* \*

После одного из таких разговоров она вошла к мужу в кабинет и застала его за работою: он поверял какие-то счета. Она оглянулась и начала что-то искать.

— Ты что, Маша? — спросил ее Щетинин.

— Нет, я думала, что ты...

— Что тебе нужно?

— Да ведь ты занят.

— Что ж такое. Это пустяки. Тебе поговорить, что ли, о чем-нибудь?

— Ммда. Я хотела тебя спросить...

— Ну говори! Садись сюда! Да что ты какая?

— Ничего. Пожалуй, Яков Васильич придет.

— Нет, он теперь, должно быть, уже не придет. Ты что же? не хочешь при нем? а?

Марья Николавна молчала; Щетинин хотел было ее обнять, но она тихо отвела и пожала его руку. В кабинете было почти темно; на письменном столе горела свеча с абажуром и освещала только бумаги и большую бронзовую чернильницу. В окно вместе с ночными бабочками влетали бессвязные отголоски каких-то песен и тихий, замирающий говор людей, бродивших по двору; Марья Николавна сидела на диване, отвернувшись в сторону, и щипала пуговицу на подушке. Она то быстро оборачивалась к мужу, как будто собираясь что-то сказать, то вдруг припадала к пуговице и пристально начинала ее разглядывать; потом опять бросала и все-таки ничего не говорила.

— Да что? что такое? — с беспокойством глядя на жену, спрашивал Щетинин.

— Вот видишь ли, — наконец, начала она. — Я давно хотела спросить... да... да как-то все... Я, может быть, этого не понимаю...

— Чего ты не понимаешь?

— Да вот, что ты все с Рязановым споришь...

— Ну, так что ж?

— Почему ты его никогда не убедишь?

— Только-то?

— Да, только.

— Так ты об этом так волновалась?

— Ну, да.

— Господи! Я думал, бог знает, что случилось, а она... — говорил Щетинин, вставая с дивана и смеясь.

— Так это... по-твоему, пустяки? — тоже вскакивая с дивана и подходя близко к мужу, спрашивала Марья Николаевна. — Стало быть, ты сам не веришь тому, что говоришь? Стало быть, ты...

— Что такое? Что такое? — отступая, говорил Щетинин. — Я не понимаю, что ты рассказываешь? Как это я не верю тому, что говорю? Объяснись, сделай милость!

— Тут объяснение очень простое, — гово-

рила Марья Николавна, волнуясь все больше и больше. — Ведь ты споришь с Рязановым. Почему ты с ним споришь? Потому что ты думаешь... ну, что он не так думает. Так ведь?

— Ну, да.

— Почему же ты ему не докажешь, что он не так думает? Почему ты его не переспориваешь? Почему? Почему же ты молчишь? Ну, говори же! говори скорей! говори-и!

Она дергала мужа за рукав.

— Что ты не отвечаешь? Стало быть, ты сам чувствуешь, что он прав? а? чувствуешь? Он смеется над тобой, над каждым твоим словом смеется, а ты только сердисься... Стало быть... Да что же ты мне ничего не говоришь? Ведь ты понимаешь, что я... Ах, что же это такое!.. — вдруг вскрикнула она, отталкивая мужа, и упала на диван в подушку лицом.

Щетинин стоял среди комнаты и разводил руками.

— Тьфу ты! Ничего не могу понять... Да что с тобой сделалось, скажи ты мне на милость? — спрашивал он, подходя к жене и трогая ее за руку.

— Ничего, ничего со мной не сделалось, —



отвечала она, вставая. — Я только теперь понимаю, что я... что я ошибалась до сих пор, ужасно ошибалась... — говорила она, уже совершенно спокойно.

— Да в чем же? В чем?

— Ты не знаешь? Да неужели ты думаешь, что я не поняла изо всех этих споров, что ты и меня и других стараешься обмануть? Меня ты мог, конечно, а вот Рязанов ловит тебя на каждом слове, на каждом шагу показывает тебе, что ты говоришь одно, а делаешь другое. Что? Это неправда, ты скажешь? а? Ну, говори! А-а! Значит, правда! Вот видишь! Правда!..

Щетинин скоро ходил из угла в угол и пожимал плечами.

— Послушай, — сказал он, останавливаясь перед нею. — Ты с ним говорила?

Щетинин махнул головой на флигель.

— Говорила.

— Что же он тебе сказал?

— Он мне ничего об этом не сказал: да я и сама не спрашивала. Теперь для меня и без него все ясно. Ты думаешь, что я сама не могла этого понять, что ты хотел сделать из меня ключницу.

— Когда же? Когда? — подступая к жене, говорил Щетинин. — Маша! Что ты говоришь? Друг мой! Ну, послушай!..

Он сел с нею рядом и взял ее за руку.

— Нет, погоди, — сказала она, отнимая руку, — когда я была еще... когда ты хотел на мне жениться, ты что мне сказал тогда? Вспомни!

— Что я сказал?

— Ты мне сказал: мы будем вместе работать, мы будем делать великое дело, которое, может быть, погубит нас, и не только нас, но и всех наших; но я не боюсь этого. Если вы чувствуете в себе силы, пойдете вместе. Я и пошла. Конечно, я тогда еще была глупа, я не совсем понимала, что ты там мне рассказывал. Ведь ты видел, я очень любила мою мать, и я ее бросила. Она чуть не умерла с горя, а я все-таки ее бросила, потому что я думала, я верила, что мы будем делать настоящее дело. И чем же все это кончилось? Тем, что ты ругаешься с мужиками из-за каждой копейки, а я огурцы солю да слушаю, как мужики бьют своих жен, — и хлопаю на них глазами. Послушаю, послушаю — потом опять примусь

огурцы солить. Да если бы я желала быть такой, какую ты меня сделал, так я бы вышла за какого-нибудь Шишкина, теперь у меня, может быть, уже трое детей было бы. Тогда я по крайней мере знала бы, что я самка, что я мать; знала бы, что я себя гублю для детей, а теперь... Пойми, что я с радостью пошла бы землю копать, если бы видела, что это нужно было для общего дела, что я не просто ключница, которая выгадывает каждый грош и только и думает о том: ах, как бы кто не съел лишнего фунта хлеба! ах, как бы... Какая радость!..

Она встала и хотела идти, но Щетинин сделал движение остановить ее. Она обернулась к нему и сказала:

— Нет; ведь я это все уж давно, давно поняла, и все это у меня вертелось в голове; только я как-то не могла хорошенько всего сообразить; ну, а теперь вот эти разговоры мне помогли. Я тут очень расстроилась, взволновалась. Это совсем лишнее. И случилось потому, что я все эти мысли долго очень скрывала: все хотела себя разуверить; а ведь, по-настоящему, знаешь, надо бы что сделать? Надо бы

мне, ничего не говоря, просто взять да уехать...

— Маша! — подходя к ней, дрожащим голосом сказал Щетинин, схватив ее за руку. — Маша! Что ты говоришь? Да ведь... ну, да... да ведь я люблю тебя. Ты понимаешь это?

— Да и я тебя люблю... — сдерживая слезы, говорила она, — я понимаю, что и ты... ты... ошибся, да я-то, не могу я так. Пойми! Не могу я... огурцы солить...

Щетинин взял себя за волосы и, зажмурившись, бросился на диван.

\* \* \*

Когда он открыл глаза, Марьи Николаовны в комнате уже не было.

Он посмотрел на дверь, встал и начал ходить из угла в угол, опустив голову и заложив руки за спину. По лицу его видно было, что ему беспрестанно приходили в голову какие-то новые, страшные мысли, которые то пугали его, то заставляли безо всякой нужды хвататься за разные вещи, разбросанные на столах. Он остановился перед окном, побарабанил по стеклу, помуслил палец и написал на стекле: *огурцы*, потом быстро стер это сло-

во и, закинув обе руки на затылок, пошел было к двери, но вернулся, схватил щетку и начал чесать себе голову. Чесал, чесал долго, кстати и комод почесал, вдруг бросил щетку, сел на диван и закрыл себе лицо руками. Через несколько минут он открыл лицо, уперся локтями в колени и уставился в пол. Опять встал, тихо подошел к зеркалу и, глядя в него, осторожно, не торопясь, но совсем, по-видимому, бессознательно, снял галстук, расстегнул жилет и хотел было снять сюртук, но тут же опять вздернул его на себя так, что подкладка затрещала, и ушел. В темном коридоре он остановился перед комнатою своей жены и хотел было отворить дверь, но она была заперта.

— Кто там? — спросила Марья Николавна.

— Можно войти? — нерешительно спросил Щетинин.

— Зачем?..

Щетинин молчал. Из комнаты тоже ответа не было. Он постоял еще немного, тихо отнял руку от двери и вернулся в кабинет. Медленно сел на диван, развернул книгу, подпер голову рукой и стал смотреть в книгу; осторож-

но соскоблил муху, приплюснутую между страницами, перевернул лист, не замечая, что книга лежит вверх ногами, и опять углубился в чтение.

Прошло полчаса. Наконец, он вздохнул, отодвинул книгу от себя, посмотрел кругом и пошел во флигель.

Рязанов лежал на кровати и смотрел в потолок. На стуле подле него горела свеча; тут же, у кровати, валялась на полу развернутая книга.

— Ты что? — спросил его Рязанов.

— Я, брат... Вот что: история тут вышла...

— Какая история?

Рязанов повернулся на бок; Щетинин стоял над ним и рассматривал свечу.

— А такая, что... как бы это тебе сказать?.. Там, знаешь, это бывает...

— Где бывает?

— Да в городе. Как они. Черт? Как это называется?.. съезды. Ну да, съезды. Мировые съезды[37] бывают.

— Так что ж?

— Ну, поедем!

— У тебя дело, что ли, там есть?

— Какое, к черту, дело? На кой мне их?

— Так зачем же ты меня зовешь?

— Да я тебя зову, видишь ли, зачем...

Щетинин отошел к окну.

— Я тебя, любезный друг, зову... — продолжал он, поднимая с полу книгу и перелистывая ее, — чтобы... понимаешь... не скучно было. И мне веселей и тебе веселей. Понял? Ну да. Коптишь тут в деревне. Что хорошего? Так ведь? — говорил Щетинин, складывая книгу и отдавая ее Рязанову.

Рязанов пристально посмотрел на него и взял книгу.

— Что ты такое мелешь? — наконец, спросил он. — Ты, должно быть, болен, что ли.

— Да, брат, у меня ужасно голова болит. Прощай.

Рязанов посмотрел ему вслед, пожал плечами, опять раскрыл книгу и принялся читать.

Щетинин, вернувшись домой, прошел прямо в спальню, зажег свечу и сел на стул у кровати. На подушках лежала ночная кофта и чепчик Марьи Николаовны. Постель, как была постлана, так и осталась неизмятою. На сто-

лике, рядом с подушками, стоял графин с водою. Щетинин налил стакан, выпил и долго, со стаканом в руке, глядел на подушки, потом поставил его на столик, поправил одеяло и ушел в кабинет.

\* \* \*

На другое утро приказчик несколько раз приходил за делом, — Щетинин все спал. Часов в девять подали самовар. Марья Николаевна вышла в столовую, заварила чай; в передней показались мужики. Наконец, разбудили Щетинина, приказчик вошел в кабинет. Барин сидел за письменным столом, протирая глаза, и ничего не понимал. Приказчик постоял у двери, поглядел, сделал шаг вперед, поклонился, подождал, подождал и, кашлянув, решился спросить:

— Лексан Васильич.

— А?

— Во флигаре прикажете потолки насти-  
лать, или погодить до вас?

— Погодить. Погодить...

— Стало быть, сами изволите быть?

— Ну, да. Конечно.

Щетинин все протирал себе глаза и никак



не мог их протереть.

Приказчик еще немного помолчал.

В это время Щетинин уж начал дремать, облокотившись на стол. Приказчик кашлянул еще раз; Щетинин вздрогнул и открыл глаза.

— Насчет крюковских мужичков будет ваше приказание? — спросил приказчик погромче.

— Как же, как же, брат...

— Леску позвольте им отпустить?

— Что ж, пусть их!

— Все маленько почистится лесок.

— А?

— Почистится, мол.

— Ну, да. Чего тут еще...

— Глядеть так-то быдто лучше, веселей.

— Хх! Отличная, брат, штука!

Щетинин улыбнулся и сейчас же опять задремал. Через несколько минут приказчик спросил:

— Так когда же изволите приехать?

— Куда?

— А на футор-с?

— Ну, вот еще! За коим чертом я туда поеду? Не видал я твоего футора, — говорил Ще-

тинин недовольным голосом и опустил голову на стол.

— Что ты к нему пристаешь? — из столовой вполголоса сказала приказчику Марья Николаевна. — Разве ты не видишь, что он спит?

— Кто спит? Я сплю? Это неправда! — вскочив со стула, говорил Щетинин. — Я не сплю.

Приказчик все еще стоял в дверях. Щетинин широко открыл глаза, потянулся, посмотрел вокруг, наморщил брови и задумался.

— Да, — как будто припоминая что-то, произнес он. — Это так...

Потом, — заметив приказчика, прибавил:

— Ты, брат, вот что... ты там... как это сказать, — ты, любезнейший... ну, да; ты вели лошадей поскорей заложить, — говорил он, совершенно очнувшись. — А насчет дел, это там после, мы увидим. Ступай!

— Мужички тоже было... — заговорил приказчик, указывая на мужиков, стоявших в передней.

— Гони их! — крикнул Щетинин.

Пришел Рязанов; Щетинин наскоро выпил стакан чаю, умылся. Во все это время никто

из них не сказал ни одного слова. Как только выехали в поле, Щетинин заснул и проспал до самого города.

Действительно, в городе был мировой съезд и, к тому же, крестьянская ярмарка. По улицам бродили пьяные мужики и разряженные бабы; на базарной площади стояли палатки и шалаши с товарами; в подвижном трактире играла музыка и пели песни; солнце пекло, пыль тучею стояла над толпою мужиков, двигавшейся во все стороны; между возов пробирался на паре караковых исправник, с верховым полицейским служителем позади. В толпе продирались управляющие, барыни с узлами и с раскрасневшимися лицами.

В сторонке, у весов, стояло шесть человек гарнизонных солдат в суконных галстуках и в белых холщовых мундирах. Перед ними прохаживался капитан: он делал им смотр и ругался, а сам был пьян. Солдаты тоже были пьяные и, вздыхая, равнодушно посматривали на проходящих. Тут же стояли дрожки, на которых приехал капитан. Он все собирался уехать; несколько раз подходил к дрожкам и поднимал ногу; но сейчас же опять возвра-

щался и опять принимался ругаться. На правом фланге стоял солдат с заплаканным лицом. Он был пьянее всех; стоя в вытяжку, он плакал и не сводил глаз с своего командира.

— Я тебе по-ка-жу, твою мать, я тебе покажу! — кричал капитан, наступая на солдата.

— Готов, завсегда готов, — вытягивая лицо вперед, отвечал солдат.

— Молчать!

— Слушаю, вашскорродье...

— В грррроб заколочу... распрротак!

— С радостью...

Бац.

Солдат заморгал глазами и выставил свое лицо еще больше вперед. Проходящие мужики останавливались. Солдат всхлипывал и, не утирая слез, прямо смотрел в глаза начальнику.

— У! рраспрраатак, — рычал капитан, косясь на солдата и подходя к дрожкам.

— С моим, с удовольствием! — крикнул солдат.

— Молчать! — заревел капитан, снова подлетая к солдату.

По улицам ездили и бродили помещики; в

домах тоже везде виднелась водка и закуска; из отворенных окон вылетал табачный дым вместе со смехом и звоном графинов.

В этот день назначено было открытие по возобновлении дворянского клуба, с переименованием его в соединенный, так как в новом клубе предполагалось соединить все сословия. Мировой съезд помещался в том же здании, а потому у ворот и на крыльце толпились мужики, вызванные посредниками в город по делам.

Щетинин с Рязановым прошлись по ярмарке и отправились в клуб. На дороге им попались дворяне; они шли вчетвером, обнявшись, в ногу и наигрывали марш на губах.

Впереди маршировал маленький толстенный помещик и размахивал планом любовного размежевания вместо сабли.

— Здравия желаем, ваше-ство-о! — гаркнули дворяне, поравнявшись с Щетининым, и пошли дальше.

— Спасибо, ребята! — крикнул высунувшийся из окна помещик.

— Рады стараться...

— По чарке на брата! Идите сюда! — кри-

чал он, махая рукою.

— Правое плечо вперед, — марш! — командовал начальник, и отряд завернул в ворота.

По улице пронесся легонький тарантас, запряженный тройкою маленьких лошадок. В нем сидел полный мужчина в военной фуражке, но с бородою, и делал Щетинину ручкою. Он поклонился.

Щетинин шел молча и рассеянно глядел по сторонам, рассеянно отвечая на поклоны. В клубе у подъезда стояли и лежали сельские власти: старшины, сотские, старосты и прочие; некоторые пристроились в тени, а шляпы их торчали на заборе. Заседание мирового съезда еще не кончилось. В зале, посередине, стоял большой стол, за которым сидели посредники с цепями на шее и с председателем во главе. Вокруг них толпились помещики, управляющие и поверенные, прочие дворяне бродили по зале и, по-видимому, скучали. Из буфета слышался бойкий разговор, смех и остроты.

— Да будет вам, — уговаривал один помещик посредников. — Ну что, в самом деле,

пристали. Водку пора пить.

— Погодите, — с озабоченным видом отвечали посредники. — Не мешайте!

— Позвольте мне, господа, прочесть вам, — громко заговорил один из посредников, обращаясь к съезду, — письмо, полученное мною на днях от землевладельца, господина Пичугина.

— Слушаем-с, — ответил председатель и сделал серьезное лицо.

Посредник начал читать:

— «Милостивый государь, Иван Андреевич, не имея я чести быть лично с вами знаком, имею честь довести до сведения вашего следующий анекдот: 186[3] года, мая 12-го числа, крестьянин-собственник сельца Ждановки, Антон Тимофеев, придя ко мне на барский двор в развращенном виде, с наглостию требовал от меня, чтобы я отдал ему его баб, угрожая мне в противном случае подать на меня жалобу мировому посреднику. И когда я выслал ему сказать через временнообязанную женщину мою Арину Семенову, что по условию я могу пользоваться его бабами все лето[38], то он за это начал женщину мою



всячески ругать, называя ее *стерва*, и при том показывая ей язык. После этого что же, всякая скотина может безнаказанно наплевать мне в лицо! Конечно, они теперь вольные и могут все делать. Но я этого так не оставлю и буду просить высшие власти о защите меня от притеснения и своеволия мужиков. Нет, это много будет, если всем их пошлостям подражать. Им и без того отдано все, а мы лишены всего. Имею честь быть и проч.»

— Господа! — воскликнул один из стоявших у стола помещиков. — Господа, кому угодно пари, что господин Пичугин этого, как его, собственника-то, собаками затравил?

— Ну, вот!

— Да не угодно ли на пари? Я его знаю. Вы не верьте тому, что он пишет. Это он все врет, все сам сочинил.

Начался спор. Собрание между тем, поручив посреднику исследовать дело на месте, перешло к рассмотрению проекта, представленного одною помещицею, желавшею переселить крестьян в безводную пустыню. Немец, поверенный этой барыни, развернул план и положил его на стол перед собранием.

Посредники стали рассматривать план: пустыня и на плане оказалась безводною; но, несмотря на это, поверенный утверждал, что иначе нельзя, что для самих же крестьян так будет лучше. Позвали крестьян. Они вошли, осторожно ступая по крашеному полу, поклонились и встряхнули волосами. Председатель начал им объяснять желание помещицы и указал на плане участок. Мужики выслушали и сказали: слушаем-с; только один из них как-то боком косился на план и, прищутив один глаз, шевелил губами. Но когда спросили их, согласны ли они на это, мужики все вдруг заговорили, полезли к плану и стали водить пальцами.

Доверитель вступился и просил председателя не позволять мужикам пачкать план. Мужикам запретили трогать его пальцами и велели отойти от стола.

— Ну что, батенька, как у вас свободный труд процветает? — спрашивал Щетинина один помещик, доедая бутерброд.

— Да ничего, — нехотя отвечал Щетинин.

— Ну, и слава богу, — улыбаясь, сказал помещик. — Мужички ваши все ли в добром

здоровье, собственнички-то, собственнички? а? То-то, чай, богу за вас молят? Теперь какие небось каменны палаты себе построили. Чего-с?

— Почем я знаю, — с неудовольствием сказал Щетинин.

— Да; или вы нынче уж в это не входите? Так-с. Нет, вот я, признаться, — немного погодя прибавил помещик, — все вот хожу да думаю, как бы мне своих на издельную повинность переманить; а там-то бы уж я их пробрал; я бы им показал кузькину мать, в чем она ходит, они бы у меня живо откупились. Да, главная вещь, нейдут, подлецы, ни туда ни сюда.

— Как поживаете? — говорил Щетинин, раскланиваясь с другим, только что вышедшим из буфета помещиком.

— Вот как видите, — отвечал тот. — Закусываем. Как же нам еще поживать? Ха, ха, ха! Вот с Иван Павлычем уже по третьей прошлись. Да, черт, их не дождешься, — говорил он, указывая на посредников. — Господа, что же это такое, наконец? Скоро ли вы опростаетесь? В буфете всю водку выпили, уж за херес

принялись.

— Да велите накрывать, — заговорили другие.

— Стол нужен.

— Господа! Тащите их от стола!

— Эй, человек, подай, братец, ведро воды; мы их водой разольем. Одно средство.

— Ха, ха, ха!

— Нет, серьезно, господа. Ну, что это за гадость! Все есть хотят. Кого вы хотите удивить?

— Что тут еще разговаривать с ними! Господа, вставайте! Заседание кончилось. Дела к черту! Гоните мужиков! Эй вы, пошли вон!

Таким образом кончилось заседание. Посредники, с озабоченными и утомленными лицами, складывали дела, снимали цепи, потягивались и уходили в буфет.

— Александр Васильич, голубчик, давно ли вы здесь? — говорил один из них, подходя к Щетинину. — Позвольте вас поцеловать, душа моя. *Et madame votre excuse, comment se porte-t-elle?*[39]

— Благодарю вас. Мой товарищ, Яков Васильевич Рязанов; мировой посредник нашего

участка, Семен Семеныч, — познакомьтесь, — говорил Щетинин.

— Очень рад, очень рад, — говорил посредник, расшаркиваясь и пожимая руку Рязанову. — Ах, позвольте, ваша фамилия мне знакома — Рязанов... Да. Теперь я помню. Мы с вашим батюшкой вместе служили.

— Что же вы с ним всеобщую или обедню служили? — спросил Рязанов.

— То есть как?..

— Я не знаю, как. Должно быть, соборне. А то как же еще?

Посредник с недоумением смотрел на Рязанова.

— Да разве ваш батюшка не служил в гродненских гусарах?

— Нет; он больше в селах пресвитером служил.

— То есть...

— Попом-с.

— Да. Ну, так это не тот Рязанов, которого я знал, — конфузясь, говорил посредник.

— Я думаю, что не тот.

Стали стол накрывать. В ожидании обеда дворяне прохаживались по зале, закусывали

и разговаривали.

— Господа, послушайте-ка!

— Ну!

— Не слыхал ли, или не читал ли кто, — земство, что за штука такая?

— Ну вот еще что выдумал! Давай я тебя за это поцелую.

— Да нет, постой, братец, нельзя же.

— Чего тут нельзя! Иди-ка, брат, лучше водку пить. Разговаривать тут еще... земство! Тебе какое дело?

— Как какое дело? Это вы — отчаянные головы, вам все нипочем, а у меня, брат, дети. Господа, нет, серьезно скажите, коли кто знает.

— Вот пристал!

— Пристанешь, брат. Ты небось за меня не заплатишь.

— Изволь, душка, заплачу, только пойдем вместе выпьем по рюмочке.

— Уйди ты от меня, сделай милость! Иван Павлыч, вы, батюшка, не знаете ли? Вы, кажется, журналами-то занимаетесь.

— Что такое?

— О земстве не читали ли чего?

— Как же, читал.

— Ну, что же?

— А ей-богу, не знаю, голубчик.

— Да нет ли газет каких-нибудь?

— Какие тут газеты? Вон, поди, в буфете спроси. Эй, человек, подай ему порцию газет!

— Черти! Всю водку вылакали. Налей мне хоть рому, что ли.

— Так как же насчет земства-то? А? Так никто и не знает?

— Спроси у предводителя.

— Предводитель, скажи, братец, на милость, никак я толку не добьюсь, какая такая штука это земство? Что за зверь? Подать, что ли, это какая? А?

— А это, вот видишь ты, какая вещь...

— Да ты сам-то знаешь ли?

— Ну, вот еще. Мне нельзя не знать.

— То-то. Смотри, не ври. Ну!

— Это дело — как бы тебе сказать? — государственное.

— Ну, да ладно. Об этом ты нам не рассказывай; а вот суть-то, главная суть-то в чем?

— Тут, брат, вся сила в выборах.

— Вот что. Кого же выбирать-то?

— Выборных.

— Да. Опять-таки выборных же и выбирать? Ну, за коим же чертом их выбирать-то станут?

— А они там это будут рассуждать.

— Да, да, да. О чем же это они будут рассуждать?

— О разных там предметах: о дорогах, о снабжении мостов и так далее.

— Да. Это, значит, по дорожной части. Ну, и за это мы им будем деньги платить. Так, что ли?

— Так.

— Ну, брат предводитель, спасибо, что рассказал. Теперь пойдем по рюмочке дернем.

\* \* \*

За несколько минут до обеда на улице загремели бубенчики, и у крыльца остановилась взмыленная тройка отличных серых коней. В залу вошел полный румяный молодой помещик в английском пиджаке, с пледом на руке.

— Петя! Душка! Вон он, урод! Мамочка! Давно ли?

— Что у вас тут такое? Сословия сближают-



ся? Ах вы шуты гороховые! Где же мужики-то?

— Какие мужики? Они там, на крыльце.

— А как же сословия-то?

— Ну, вот еще, сословия!

— Зачем же вы наврали?

— Кто тебе наврал? Вон, гляди, видишь: Лаков сидит. Что же тебе еще?

На диване действительно сидел купец с красным носом и бессмысленно водил глазами.

— Да, он, скотина, и теперь уж пьян. Лаков, что, брат, ты уж успел?

— Успел, — кивая головой и улыбаясь, отвечал купец.

— Экое животное!

— Нельзя... ярмарка.

Из буфета выглядывал другой купец и, стоя в дверях, подобострастно кланялся, не решаясь войти в залу.

— А! и ты здесь, чертова перечница! Что ж ты сюда нейдешь?

— Он не смеет.

— Я не смею-с.

— Ну, хорошо, братец; стой там, стой! Мы

тебя после обеда посвятим.

— Посвятим, посвятим...

Купец кланялся.

Подали суп. Стали садиться за стол. Купец Лаков тоже взялся за стул.

— Что ж, господа: мне-то можно?

— Садись, чучело, садись, ничего.

Купец сел.

— Эй, половой, подай графин водки!

— За стол водку не подают, что ты! Разве здесь кабак? — говорили купцу соседи.

— Ну, шампанского! Черт-те дери!

— Много ли-с?

— Полбутылки.

— Эх ты! Полбутылки! Мужик! Где ты сидишь, вспомни!

— Что ж такое? Ну, мы полдюжину спросим. Подай полдюжины.

— Слушаю-с.

— Да закусить чего-нибудь соленьенького. Проворней! Эх, в рот-те шило...

— Лаков, веди себя скромней, — кричали ему с другого конца.

— Я и так скромно.

— Господа, слышали в Саратове какой слу-

чай был?

— Какой?

— Поджигателей поймали. Теперь там такое дело... оказывается, что тут замешаны разные лица...[40]

— Эка штука! У нас мужики двоих поймали; взяли, дурачье, и отпустили.

— А что, позвольте вас спросить, — спросил Рязанова его сосед, уездный учитель, — телеграмму посылать будут?

— Я не знаю.

— Что он такое говорит?

— Я говорю-с насчет телеграммы.

— Какой телеграммы?

— То есть от всех сословий, вот теперь во время обеда. Разве не будут?

— Нет; телеграммы не будет, а вот речь Петр Михайлович произнесет — на латинском языке.

— Ах, в самом деле! Петя, — кричал один посредник, — речь, брат, непременно сегодня речь!

— Уж это после обеда, — отвечал Петя.

— Нет, он на прошлой неделе, — мы с ним на охоте были, — уморил: собрал мужиков и

им латинскую речь сказал.

— Ха, ха, ха!

После супа захлопали пробки и стали разносить шампанское.

— Господа, за соединение сословий! Лаков, слышь, чучело?

— А, дуй вас горой!

— Ха, ха, ха! Однако ты, чертов сын, не ругайся!..

— «Устюшкина мать собиралась умирать...» — затянул Лаков.

— Этих свиней никогда не надо пускать, — рассуждали дворяне. — Вот посадили его за стол, а он и ноги на стол.

— «Умереть не умерла, только время провела!» Что ж такое? Я за свои деньги... Ай у нас денег нет?

— Иван Павлыч, ваше здоровье, — чокались через стол помещики.

— Эх, драть-то вас на шест, — кричал между тем Лаков.

— Господа, что же это такое?

— Mais, mon cher, que roules-vous clonc? G'est un paysan[41].

— Эй, послушай, ты, мужик, — говорил Ла-

кову один помещик. — Если ты, скотина, еще будешь неприлично себя вести, тебя сейчас выведут.

— Ты недостойн сидеть с порядочными людьми за столом.

Лаков струсил.

— Будешь смиренно сидеть?

— Я смиренно... Истинный бог... Подлец хочу быть — смиренно.

— Ну, так молчи же, не ругайся.

— В тринклятии провалиться — не ругался.

— Господа, за процветание клуба, — провозгласил предводитель.

— «Устюшкина мать...» — заревел Лаков. — Ай у нас денег нет? Всех вас куплю, продам и опять выкуплю.

— Нет, это из рук вон. Его нужно вывести.

— Вот они деньги, — получай! Эй! Кто у вас тут получает, получай! Триста целковых... на всех жертвую, раздуй вас горой.

— Вывести, вывести его! — кричали дворяне.

— Стой, — говорил Лаков. — За четыре бутылки назад деньги подай! Ладно. Ну, теперь

Выводи!

\* \* \*

Через час после обеда дворяне ходили по комнатам, как во сне: все что-то говорили друг другу, кричали, пели и требовали все шампанского и шампанского. В одной комнате хором пели какую-то песню, но потом образовалось два хора, так что уж никто ничего не мог разобрать, никто никого не слушал.

— Кубок янтарный...

— Чтобы солнцем не пекло...

— Полон давно...

— Чтобы сало не текло...

— Господа, это подлость!.. Ура-а! Шампанского!.. Пей, пей, пей!.. Позвольте вам сказать!.. Чтобы солнцем... Поди к черту... Ура! Шампанского!..

— Во-о-дки! — вдруг заорал кто-то отчаянным голосом.

В другой комнате происходило посвящение купца Стратонова. Судья, сидя на кресле, произносил какие-то слова, а хор повторял их. Два посредника держали под руки купца Стратонова и заставляли его кланяться судье. Купец кланялся в ноги и просил ручку. Судья

накрывал его полою своего сюртука и производил «аксиос», «аксиос»[42], хор подхватывал; третий посредник махал цепью.

\* \* \*

Щетинин с Рязановым вышли на крыльцо. Смеркалось. У ворот клуба их уже дожидался запряженный тарантас. На дворе видно было, как один помещик стоял, упершись в стену лбом, и мучительно расплачивался за обед.

По улицам бродили пьяные мужики. Ярмонка кончилась.

— Что ты такое начал рассказывать, когда я приехал, помнишь? — про какое-то социальное дело, — спросил Рязанов своего товарища, когда они выехали в поле.

— Нет, оставь это, прошу я тебя: сделай милость, оставь, — ответил Щетинин.

## VI

Щетинин с Рязановым вернулись из города ночью, часу в первом; Рязанов отправился к себе во флигель, а Щетинин прошел прямо в кабинет, разделся, прочел письма, развернул газету и, облокотившись над нею, задумался.

Прошло несколько минут.

— Кушать не будете? — угрюмо спросил его лакей.

— А?

Щетинин как будто очнулся.

— Кушать не будете? — тем же тоном и так же угрюмо повторил лакей.

— Нет, не буду.

Лакей хотел было уйти.

— Постой! Что... а-а... барыня уж легла, не знаешь? — сбиваясь и разглядывая газету, спросил Щетинин.

— Не могу знать.

— А-а... здоровы... здорова она?

— Не могу знать.

Щетинин нахмурился и исподлобья посмотрел на лакея: лакей, заложив одну руку



за спину, а в другой держа сапоги, стоял у притолоки и тоже исподлобья смотрел на барина.

— Что это у вас за привычка, — раздражительно начал Щетинин: — «не могу знать» да «никак нет»? Черт знает, точно рекруты какие-то!

Лакей переступил с ноги на ногу и продолжал молча смотреть на барина.

— Просишь, кажется, ведь — нет!

Молчание.

— Последний раз тебя прошу: не говори так, сделай милость!

— Слушаю-с.

Щетинин махнул рукой.

— Ступай! ступай уж! — говорил он умоляющим голосом.

Лакей ушел...

Щетинин поправил газету, хлопнул по ней ладонью и принялся было читать; но сейчас же забарабанил пальцами по столу и загляделся на подсвечник. Тихо стало: слышно, как на дворе лошадей отпрягают... вдруг где-то, в дальних комнатах, что-то стукнуло, и зашуршало женское платье. Щетинин вздрогнул,

поднял голову и начал прислушиваться: пол заскрипел... шелест все ближе и ближе... вот прошла в залу... задела платьем за стул... повернула в столовую...

— Друг мой, прости меня, — говорила Марья Николавна, входя в кабинет.

Щетинин бросился к ней и крепко схватил ее за обе протянутые к нему руки.

— Я тебя огорчила, — прости! Я сама теперь вижу, что ты все-таки хороший, хороший человек.

Щетинин положил ей на плечи свои руки и нежно смотрел ей в глаза.

— Это совсем не нужно было, что я наговорила тебе. Я ужасно раскаивалась...

Она сказала все это нежным, но твердым голосом; в глазах были слезы.

— Ну, полно, полно, — говорил Щетинин, целуя ее в голову.

— Нет, знаешь, я после, как ты уехал, целый день и тогда ночью тоже все думала, думала... Все свои мысли передумала сначала.

— Сядем, — сказал он, обняв жену и усаживая ее на диван. — Ну, что же ты выдумала?

Он вздохнул, прислонился головою к ее

плечу и закрыл глаза.

— Как же ты меня измучила-то!

— Прости!

— Ну, да что тут! Это все пустяки. Нет, я уже вообразил, что... Впрочем, рассказывай, рассказывай!

— Что ты вообразил?

— Все вздор. Ведь уж прошло, так чего же еще? А ты мне вот что скажи: что это с тобой случилось?

— Да как тебе сказать? Не знаю. Мне кажется, что со мной ничего особенного не случилось, а так вдруг представилось мне, что вот все это — лечение там и что хозяйством я занимаюсь, что все это ужасные глупости.

— Да почему же? Ведь прежде это тебе не приходило в голову.

— Прежде? Видишь ли. Как бы тебе это рассказать? До сих пор я все еще чего-то ждала, до последней минуты ждала; я не рассуждала, я и не думала даже ничего, я просто верила, что так нужно почему-то. Ты мне сказал тогда, давно еще: Маша, займись хозяйством, пожалуйста! Ну, я и стала заниматься; потом пришли больные мужики, ты мне сказал: Ма-

ша, ты бы там пошла поглядела, что у них. Я и стала лечить. Ну, и ничего. Я так все и жила и жила... Я точно будто во сне была все это время. А тут вдруг эти споры начались...

— Так это значит...

— Что?

— Нет, ничего, ничего. Так что же дальше-то?

— Сначала мне казалось, что это он так, нарочно; потом одно время, помнишь, когда он все советовал тебе судиться с мужиками. Ведь он смеялся тогда. В это время я не знаю что, я просто готова была убить его. Я только не говорила тебе, а я все об этом разговоре думала, припоминала каждое слово... А ведь это все правда.

— Что правда?

— Да что он говорил. Правда ведь? Да?

— Мм...

— Нет, в самом деле, подумай: что мы такое делаем?

— Помещики как помещики.

— Меня это мучило ужасно. Ну, положим, ты вот все говоришь, что ты там пример, что ли, им хочешь показать, ну я не знаю. Нет, а

я-то что же тут?

Щетинин ничего не отвечал. Он, нахмурившись, глядел в окно и отвертывал кисть у своего халата. На дворе начинало светать.

— Вспомнила я, — помолчав немного, заговорила опять Марья Николавна. — Вспомнила, как мы с тобой сначала говорили там о разных жертвах, а теперь посмотрела: какие же это жертвы? Это так, забава. Занимаюсь я этим или нет, — решительно все равно. Да и что это за занятие? Обед заказать, белье отдать выстирать, — так это и без меня само собой делается; а там пластырь какой-нибудь дать мужику, так я еще и не знаю, что я даю. Может быть, ему даже еще хуже будет от этого. Я ведь не училась быть доктором и ничего не умею. Так что же я могу сделать?

— Ну, расскажи-ка лучше, что же ты придумала, — прервал ее Щетинин.

— А вот что, — сказала она, приложив палец к щеке и как будто во что-то всматриваясь. — Я теперь все поняла. Ты тут совсем не виноват.

Щетинин немного повел бровями.

— Помнишь, тогда с мужиками ты все хло-

потал, чтобы они... как это?

— Ну, да, ну, да, — нетерпеливо сказал Щетинин.

— Чтобы у них все было общее. Как это называется?

— Да все равно. Так что же ты-то думаешь теперь?

— погоди, не перебивай меня! Что я хотела? Да. Вот ведь ты тогда ошибся.

— Ошибся, — тихо ответил Щетинин.

— Ведь ты им добра желал?

— Да...

— Так почему же это не удалось?

— А потому, что они дураки, — резко ответил Щетинин.

Марья Николавна приостановилась.

— Своей же пользы не понимают, — прибавил Щетинин и, привстав на локте, потянул к себе подушку.

— Так за что же ты на них сердишься? — с удивлением спросила Марья Николавна.

— И не думаю. С какой стати мне на них сердиться?

— Ну, да! Ведь они в этом не виноваты, что не понимают. Они ошибаются. Ты и сам тоже

ошибался. Их надо учить, тогда они поймут. Так ведь?

— Конечно, — размышляя, ответил Щетинин. — Только кто же это их будет учить? Уж не ты ли? — поднимая голову, спросил он.

— Да, я. Что ты на меня смотришь? Ну, да. Я буду их учить. Наберу детей и заведу у себя школу. Ведь это хорошо я придумала? А?

Щетинин опять опустил голову на подушку и сказал:

— Разумеется. Что ж тут. Только я не знаю...

— Что ты не знаешь? Сумею ли я справиться с этим делом?

— То-то, сумеешь ли? Ведь тут терпенье страшное...

— Не беспокойся. Насчет терпенья я... да притом, вот и Рязанов, — ведь он проживет здесь все лето, — он мне поможет, расскажет, как надо все делать.

— Рязанов!.. Да.

Щетинин поморщился.

— Нет, уж ты лучше с этим к нему не обращайся.

— Почему же?

— Да так. Он вообще...

— Что вообще?

— Вообще... он на это смотрит как-то странно.

Марья Николавна задумалась.

— Да разве ты с ним говорил что-нибудь об этом?

— Нет, не говорил, но мне так кажется, судя...

— Да нет, не может быть. Он не такой. Я, впрочем, сама с ним поговорю.

— Да. Ну, так, стало быть, — говорил Щетинин, приподымаясь и заглядывая Марье Николавне в лицо, — стало быть, ты не сердишься? Это главное.

— Нет; да ведь я и тогда не сердилась. Ведь это совсем не то. Ну, что же там в городе?

— Что в городе? Такая мерзость. Перепились все, как сапожники. Только всего и было. Однако уж светает.

— В самом деле, — сказала Марья Николавна, вставая. — Так я завтра же начну это. Переговорю, во-первых, с Рязановым...

— Да, да, это хорошо.

— А потом... и начну. Только вот... Погоди!



Щетинин хотел ее обнять.

— Только вот книг нужно достать.

— Достанем, всего достанем.

— Ты в город-то ездил. Ах, какая я глупая!

— А что?

— Ты там бы мог купить.

— Что ж такое? Можно послать.

— Так ты завтра же... постой! завтра же пошли!

— Пошлю. Как же я устал-то, господи! — говорил Щетинин, потягиваясь. — Ну, теперь спать!

## VII

На другой день Щетинин встал раньше всех, один напился чаю и уехал на хутор, на целый день.

Марья Николавна долго ждала Рязанова за самоваром, наконец послала за ним во флигель, — оказалось, что он чуть свет ушел куда-то и еще не возвращался. Она пошла было в сад, но потом вдруг вернулась домой. Придя в свою комнату, она открыла рабочий столик, достала оттуда начатые рукавчики, взяла иголку и принялась было шить, потом опять распоролла, выдернула иголку, оторвала кончик нитки и опустила руки на работу. Так просидела она с полчаса, отвернувшись в сторону и в раздумье перебирая пальцами свое платье; только глаза ее медленно переходили с одной вещи на другую, ни на чем не останавливаясь и ничего не выражая, кроме одной какой-то мысли, которая не давала ей покоя. Пасмурный свет из окна, проходя сквозь зеленую занавеску, бледно ложился на одну сторону ее красивого, но и без того печально-го лица, неясно обозначал щеку, висок с непо-

движной бровью и далеко откинутую назад темную косу.

Вошла горничная.

— Что ты, Поля? — мельком взглянув на нее, спросила Марья Николавна.

— Блюзку запошить прикажете или только сметать пока вперед-иголку?

— Все равно. Сама увидишь, как лучше.

Горничная молчала.

— Ну, запошей, что ли.

— Там вон девочку привели, — улыбаясь, сказала горничная.

— Какую девочку?

— Да мать привела, крестьянскую. Большая.

Горничная фыркнула.

— Что ж ты смеешься?

— Очень уж смешно. У девочки в ухе...

Горничная опять засмеялась.

— Что ж у ней в ухе?

— Горох вырос.

— Как горох вырос?

— Да извольте сами посмотреть. Обыкновенно, ребятенки баловались, засунули ей в ухо горошину; он у ней там и вырос. Видно,

извольте поглядеть, из уха росток торчит.

Оказалось, у девочки действительно из уха виднелся росток. Марья Николаевна достала шпилькою горошину и налила девочке в ухо деревянного масла. Баба вытащила из-за пазухи четыре яйца и подала их Марье Николаевне.

— Зачем это? Мне не надо.

— Ну, — сказала баба, все-таки отдавая яйца.

— Нет, право, мне не надо.

— Ну! Ничаво.

Баба старалась поймать ее руку.

— Ах, какая ты! Ведь я тебе сказала, что не возьму, — говорила Марья Николаевна, спрятав свои руки.

— О? Ну, мотри же! А то возьми. Что ж?.. Ничаво.

— Не возьмет. Дура! говорят тебе, — смеясь, прибавила горничная.

— Да ведь у нас денег нету. Какие у нас деньги?

Марья Николаевна улыбнулась.

— А то я пзнички {Пзничка — местное название земляники.} принесу коли.

— Ничего мне не надо.

— Ну, благодарим покорно, — кланяясь, говорила баба.

— Целуй у барыни ручку, — сказала она своей девочке. — Проси ручку! Сопли-то утри! Скажи: пожалуйста, мол, сударыня, ручку! Проси скорей.

— Нет, нет; и этого не надо, — конфузясь, говорила Марья Николавна. — А ты лучше вот что... послушай-ка.

— Чаво-с?

Баба самой себе утерла нос.

— Ты из какой деревни?

— Мы-то?

— Ну да.

— А мы вот каменски.

— Это недалеко ведь, кажется.

— Возле. За речкой-то вот.

— Который год твоей девочке?

— Девочки-ти? Да, мотри, никак девятый годочек пошел.

Марья Николавна нагнулась к девочке и взяла ее за подбородок. Девочка пугливо вскинула глазами кверху и ухватилась за подол своей матери.

— Как тебя зовут? — спросила девочку Марья Николавна.

Девочка молчала.

— Что ж ты, дура, молчишь? — говорила ей мать. — Скажи: Фроськой, мол, сударыня. Говори скорей!

— Фроськой, — прошептала девочка, схватилась обеими руками за мать и уткнулась носом ей в живот.

— Послушай, милая, — вдруг как-то решительно заговорила Марья Николавна и улыбнулась. — Отдай ее мне, я буду ее учить.

Баба взглянула на Марью Николавну и тоже улыбнулась и, нагнувшись к девочке, сказала:

— Вон, слышишь, барыня-то что говорит? Учить, говорит. Чу, мотри не балуй! Как забалуешь, учить.

Девочка взглянула на Марью Николавну и сейчас же опять спряталась.

— Ах нет. Ты не понимаешь, — торопливо заговорила Марья Николавна. — Я ведь это не нарочно говорю. В самом деле давай, я ее буду учить.

— Ох, уж барыня! Что только они выдума-

ют! — смеясь, говорила горничная.

Баба смотрела на них в недоумении.

— Грамоте учить. Знаешь, читать и писать, — толковала бабе Марья Николавна.

— Это на что же так-то? — не понимая, спрашивала баба.

— Она у тебя грамотная будет: будет уметь читать и писать, сосчитать когда что нужно, письмо написать...

Горничная фыркнула себе в руку.

— Какая ты... странная! Что ж тут смешного? — вспыхнув, заметила Марья Николавна.

— Ох, уж и не знаю... — говорила баба, улыбаясь и посматривая на горничную.

— Чего ж тут не знать? Это очень просто, — зачастила Марья Николавна.

— Ох, нет. Ох, уж незамай же она... Нет уж, помилуйте, сударыня.

— Да отчего же?

— Нет, уж сделайте божескую милость, — низко кланяясь, говорила баба. — Что с нее взять? малый ребенок.

Баба придерживала девочку, как будто у ней кто-нибудь хотел ее отнять. Девочка вдруг заревела.

— Ты, может, боишься, что ей здесь будет нехорошо?

— Нет, уж помилуйте, сударыня! Одна она у меня, девочка-то. Коли так, уж легче же я курочку вам принесу за лечение.

Марья Николавна молча постояла перед бабою, грустно улыбнулась, посмотрела на нее, сказала:

— Не надо. Ни курочки, ни девочки твоей мне не надо! Успокойся! — и ушла опять в свою комнату.

Немного погодя она вышла на крыльцо с зонтиком в руке и отправилась в людскую.

\* \* \*

В людской сильно пахло щами и горячим ржаным хлебом, который лежал на лавке, прикрытый полотенцем. У окна сидел кучер и курил трубку; стряпуха собралась было разуваться и поставила одну ногу на скамейку; по полу, отрывисто чавкая, бродил поросенок; рядом с кучером, на лавке же, сидела двухлетняя девочка и ковыряла большою деревянною ложкою в пустом горшке, из которого всякий раз шумно вылетали мухи.

Кучер говорил девочке, дотрагиваясь до



нее трубкою:

— Грушка!

— Мм! — с неудовольствием отзывалась девочка.

— Это у тебя что?

— Ммм!..

— Что это у тебя!

— Мм-ма-а! — кричала девочка, хлопая ложкою по горшку.

— Что ты, охальник, к робенку-то пристаешь! — кричала стряпуха.

В это время вошла Марья Николавна. Кучер встал и спрятал трубку за спину, стряпуха тоже встала и обдернулась. Марья Николавна поклонилась им, посмотрела вокруг и сказала:

— Как тут пахнет.

Кучер со стряпухою ничего не ответили. Марья Николавна подошла к девочке, погладила ее по голове и спросила:

— Это Груша?

— Грушка-с, — кланяясь, подтвердила стряпуха.

— Гм. Маленькая, — вполголоса произнесла Марья Николавна, постояла еще

несколько минут, взглянула на печку и заметила, что тараканов много.

— Довольно-с, — сказал кучер.

— Вы хоть бы выводили их.

— Выводили-с, — ответила стряпуха.

— Ведь это для себя же, — добавила Марья Николавна.

— Это справедливо, — подтвердил кучер. — Насчет чистоты ежели.

— Бог их знает. Уж и не знаю, что с ними делать, — говорила стряпуха, с сокрушением глядя на тараканов.

— Варом нет лучше, — заметил кучер, подходя к печке.

Сказав это, он сбросил одного таракана на пол и раздавил его ногою.

— До смерти не любит, как ежели его ошпаришь: ту ж минуту помирает.

— Ну, да, — рассеянно сказала Марья Николавна. — А где столяр? — вдруг спросила она.

— Да никак они там, с Иван Степанычем, скрыпку, что ли-то, налаживают, — ответила стряпуха.

— Какую скрыпку? Клетку строят для чижа, — сказал кучер.

— И то, мотри, клетку, а я скрыпку, — поправила стряпуха.

— В сарае балуются, — добавил кучер.

Марья Николавна вышла на двор и послала кучера за столяром.

Пришел столяр, скинул с головы ремешок и поклонился.

— Послушай, — сказала ему Марья Николавна, — не можешь ли ты сделать стол?

— Что ж, это можно-с, — подумав, ответил столяр.

— Простой, понимаешь, совсем простой.

— Слушаю-с. А сколь велик будет стол?

— Да вот этак, я думаю.

Она показала зонтиком на земле. Столяр поглядел и сказал:

— Ничего. Это можно-с.

— И еще две скамейки такие, длинные.

— И это все ничего. Бочка, значит, в наград [43].

— Ну, я это не понимаю.

— Всё дуйма полтора толщины доски потребуются, — говорил столяр, показывая два пальца.

После того Марья Николавна прошла во флигель, где жил Рязанов, и велела там очистить одну пустую комнату, всю заваленную разным хламом; а сама отправилась по дороге к селу. Солнце пекло; она шла скоро, слегка шмыгая платьем, и, прищурясь, смотрела вперед. Неподалеку от церкви попался ей старый, проживавший в селе мещанин. Он шел с мельницы, с удочками на плече и нес на веревочке пескарей.

— Мое вам почтение, сударыня, — сказал он, низко кланяясь.

— Ах, здравствуйте!

— Гулять изволите?

— Да.

— Очень прекрасно-с.

— Вы, кажется, рыбу ловили?

— Что делать, сударыня: большую охоту имею.

— Семейство ваше как?

— Благодарю моего создателя, — слава богу-с.

— Дети ваши что делают? Старший где?

— Учится-с.

— Где же?

— Комзино село изволите знать? Ну вот-с, в мальчиках у купца в лавочке. Сам пожелал Федю моего у себя иметь, призывает. Приходим. — Какое, говорю, будет ваше положение? — А наше положение, говорит, будет вот какое: на первый раз, говорит, мы ему ничего не положим: а там посмотрим, ежели, говорит, будет стараться, тогда что положим. — Подумали, подумали мы с супругой: что ж, нечём ему баловаться-вешаться, незамай же он учится. Так и отдали.

— Ну, а младший?

— Материн баловник. Махонький дома пока при матери-с. Тоже учится, родителей утешает.

— Кто же его учит?

— Сама-с.

— И охотно учится?

— Охотник смертный. И теперече, доложу вам, не то чтобы бить, а даже то есть и пальцем не трогаем.

— Как же вы делаете?

— Пряником-с. Пряником, и кончено дело-с. Возьмет это мать в руки пряник — ну-ка, говорит, Миша, прочитай богородицу! И ту ж

минуту садится, книжку берет, молитву читает. И так это чудесно мать приучила, занялся; верите ли, в одну неделю всю азбуку понял.

— Вот как. Прощайте!

— До приятного свидания-с.

\* \* \*

Марья Николавна пошла дальше. На селе было совсем пусто; старухи, сидевшие у ворот, вставали и низко кланялись ей издали. Под одним амбаром лежала куча ребятишек, тут же прыгала привязанная за ногу галка. Марья Николавна заглянула под амбар и спросила:

— Что вы тут делаете?

Ребятишки притаились. Она нагнулась еще ниже, поглядела на них: они стали прятаться друг за друга.

— Приходите ко мне ужо, я вам гостинцев дам, — ласковым голосом сказала она им.

Молчат.

— Придете, что ли?.. Зачем вы галку-то мучите? — спросила она, не дождавшись ответа.

Из-под амбара кто-то дернул за веревку, галка закричала и, ковыляя на одной ноге, скрылась под амбаром.

Марья Николавна постояла еще немного, вздохнула и пошла. Она остановилась у священнического дома и хотела отворить калитку; на дворе залаяла собака, но калитка была заперта изнутри и не отворялась.

— Кто там? — недовольным голосом спросил батюшка со двора.

— Это я, Марья Николавна.

— Ах, извините, сударыня! Пожалуйста!

Батюшка был в одном полукафтани, с засученными рукавами; он заторопился и, продолжая извиняться, ввел Марью Николавну в горницу.

— Я к вам только на минутку, — говорила она входя. — Здравствуйте, матушка.

Матушка поклонилась и вдруг бросилась сметать со стола.

— Я вам, кажется, помешала.

— Нет, ничего-с. Помилуйте! За честь почту, что удостоили. А я, признаться, тут по хозяйству было... Коровке вот бог дал — отелилась; ну, я, знаете, сам... Все тут: и хозяин и бабушка. Ха, ха, ха! Что делать?

Марья Николавна улыбнулась.

— При народе-то, знаете, немножко неловко, — вполголоса прибавил батюшка. — Так как, можно сказать, служитель алтаря, ну, оно, знаете, странно несколько. Соблазн для простых людей.

— А я было к вам за делом, батюшка, — начала Марья Николавна.

— Самоварчик не прикажете ли? — спросила матушка.

— Нет, нет; благодарю вас. А я вот что, батюшка...

— Что вам угодно, сударыня? Вы извините меня, ради бога, что я так. Сейчас подрясник надену.

— Зачем же это? Не беспокойтесь.

— Нельзя же-с. Все, знаете, приличие требует.

Батюшка сходил за занавеску, надел подрясник, пригладил волосы, кашлянул, наконец вышел и сказал:

— Еще здравствуйте!

— Я, батюшка, к вам поговорить пришла, — торопливо начала Марья Николавна. — У вас тут в селе школа есть.

— Да-с.



— Там ведь крестьянские дети учатся. Так я вот что придумала: мне бы самой хотелось их учить.

— То есть как-с?

Батюшка откинулся назад и прищурился.

— Да так, просто учить читать, писать; ну, вообще, что сама знаю: географию там, арифметику...

— М-да-с, — размышляя, говорил батюшка. — Что же-с? Это как вам угодно. Конечно...

— Вот видите ли, мне хочется занятие найти, а то ведь я что же? Я ничего не делаю. Так все равно время... а тут по крайней мере польза.

— Без сомнения, — говорил батюшка, глядя в пол.

— Ну, и девочек я могла бы рукодельям учить... Все-таки хоть что-нибудь.

— Конечно, конечно-с. Только вот изволи-те видеть... Теперь у нас этим самым делом писарь заведует. Человек он небогатый; ну, а крестьяне тоже много дать не могут: мучку там или крупиц, кто что.

— Ах, да ведь я, разумеется, даром буду учить, — перебила его Марья Николавна.

— Нет-с, я насчет писаря-то: что ему-то оно, знаете, помощь, как бедному человеку; ну, а ежели они у вас будут учиться...

Марья Николавна задумалась было, но сейчас же спохватилась и сказала:

— Да. Но это ничего. Ему можно заплатить. Это ничего.

— Дело ваше, — сказал батюшка и развел руками.

Посидев еще немного, Марья Николавна встала и ушла.

— Ишь ее разбирает, — говорил батюшка, снимая подрясник.

— Ты про кого? — не расслышав, спросила матушка.

— Да все про нее же.

— Что про нее?

— Зуда, говорю.

— О!

— А это все тот жеребец настраивает — он, непременно.

— Уж это как бог свят.

\* \* \*

Вернувшись от батюшки, Марья Николавна зашла опять во флигель и остановилась в

дверях: стряпуха, засучив платье, ходила на четвереньках по комнате и мыла пол. Марья Николавна постояла немного, осмотрела стены, велела открыть окно и вошла в контору.

— Газеты привезли? — спросила она, входя в контору.

— Чево-с? — крикнул Иван Степаныч, высунувшись в одном жилете из своей каморки, и опять спрятался.

— Привез вчера Александр Васильич из города газеты?

— Привезли-с, — входя в комнату уже в сюртуке, отвечал Иван Степаныч. — Кокандцев разбили, этих самых англичан у них отняли, — объяснял он, счищая пух с сюртука.

— Каких англичан?

— Или итальянцев, что ли. Пес их знает. Вообще европейского звания. Военнопленных. Ну, а между прочим, феферу им задали порядочного.

— Вон что, — рассеянно заметила Марья Николавна.

— Да-с, — прибавил Иван Степаныч. — Теперь все спокойно.

— Что, Яков Васильич дома? — спросила

Марья Николавна.

— Дома, — ответил из-за перегородки Рязанов.

— Можно к вам войти?

— Взойдите!

— Я еще у вас тут ни разу не была, — говорила она, входя в комнату.

Она села и посмотрела вокруг.

— Здесь ничего.

— Да, ничего, только блох много.

— А я у себя хочу школу завести.

— Вот как! Что ж, это хорошо!

— Небольшую, знаете, пока.

— Небольшую?

— Пока.

— Да. Пока, а потом и больше?

— Потом, может быть, и больше.

— Да, да, да.

Рязанов встал и тихо прошелся по комнате; Марья Николавна следила за ним глазами.

— Школу, — сказал он про себя и, остановившись перед Марьей Николавной, спросил:

— Для чего же, собственно, вы желаете ее устроить?

— Как для чего?

— С какой целью, то есть?

— Странный вопрос! Обыкновенно, для чего: это полезно.

— Да. Действительно.

Рязанов еще раза два прошелся из угла в угол.

— И скоро?

— Что скоро? — быстро переспросила Мария Николавна.

— Да школу-то заведете?

— Я завтра хочу начать. Мне бы, знаете, хотелось поскорей.

— То-то. Не опоздать бы.

— Я уж все приготовила и с батюшкой переговорила.

— Да. Уж переговорили?

— Переговорила.

— Ага. Так за чем же дело стало?

— Ни за чем не стало, только...

— Что-с?

— Да я хотела... как ваше мнение?

— Это о школах-то? Вообще я хорошего мнения. Вещь полезная.

— Нет, я хотела вас спросить о моей школе: что вы думаете?

— Да ведь ее еще нет. Или вы желаете знать мое мнение о том, что вы-то школу заводите?

— Ну, да, да. Что вы думаете?

— Что ж я могу думать? Знаю я теперь, что вам захотелось школу завести; ну, и заведете. Я и буду знать, что вот захотела и завела школу. Больше ничего я не знаю, следовательно и думать мне тут не о чем.

— А если я вас прошу подумать, — сказала Марья Николавна, слегка покраснев.

— Это еще не резон, — садясь напротив нее, ответил Рязанов. — Почему школа, для чего школа, зачем школа, — ведь это все неизвестно. Вы и сами-то хорошенько не знаете, почему именно школу нужно заводить. Вон вы говорите, — полезно. Ну, прекрасно. Да ведь мало ли полезных вещей на свете. Тоже ведь и польза-то бывает всяческая.

— Стало быть, вы находите, — подумав, сказала Марья Николавна, — что я не гожусь на это дело?

— Ничего я не нахожу. Как же я могу судить о том, чего я не знаю?

Рязанов опять встал и начал ходить.

— Какие это у вас книги?

— Разные-с.

Она взяла одну книгу, развернула и прочла заглавие.

— Что это, хорошая книга?

— Как для кого. Для вас, может быть, и хороша будет.

— Что же в ней написано?

— Написано-то в ней много, да только все это в двух словах можно бы сказать.

— Какие же это два слова?

— «Ежели ты хочешь строить храм, то прими заранее меры, дабы неприятельская кавалерия не сделала из него конюшни».

— А больше ничего нет?

— Остальное все пустяки.

— Ну, так я и не буду ее читать.

— Как хотите.

После этого разговора Марья Николаевна ушла домой и до вечера просидела в своей комнате.

## VIII

— С этим гуманством, ей-богу, обовшиве-  
сешь совсем, — кричал утром Иван Сте-  
паныч, швыряя что-то и бегая в конторе из уг-  
ла в угол. — Гуманничают, гуманничают, точ-  
но у них в самом деле тысяча душ; а тут вот  
человек без рубашки сидит.

— Вы что там ворчите? — спросил его че-  
рез перегородку Рязанов.

Он пил чай у себя в комнате.

— Да помилуйте, это просто беда. Прачка  
белья не стирает: нечего надеть... Вот изволь-  
те, — говорил Иван Степаныч, входя к Рязано-  
ву. — Мое почтение! Вот не угодно ли полюбо-  
ваться: другую неделю ношу рубашку. На что  
это похоже? Ну, добро бы зимой, а то ведь, по-  
судите сами, лето; тоже ведь живой чело-  
век — потеешь. Черт их возьми, — говорил  
он, бегая по комнате. — Прачка! а? Сволочь!  
Вы видали ее?

— Нет, не видал.

— Вы поглядите! Из Москвы привезли. Так  
вот мразь самая несчастная, а тоже поди...  
Небось тоже ведь думает о себе: я женским



трудом занимаюсь. А? Кальцоны мои стирает, а сама думает... а? Женским трудом... Хх!

Рязанов улыбнулся.

— Не хотите ли чаю? — спросил он.

— Я не пью. Мне вредно. Вон еще школу заводите... Ах ты! Наведут сюда... Вшей-то что будет! А? Нет, теперь все еще ничего, а поглядели бы вы прежде, как только женился — вот гуманничали-то! По три дня без обеда сидели от этого от гуманства. Людишки эти до такой степени испьянствовались... Нагнется вот эдак сапоги взять, да тут же и... и сблюет. Вонь по всему дому. Господи! Всякий день драки. Это у вас какая книжка? Занимательная?

— Послушайте, — не отвечая, сказал ему Рязанов, — вы зачем собаку бьете?

— Как зачем? Нельзя. Я ей говорю: «Танкред, соте»[44], а она не слушается; «соте, расподлая твоя душа!» — она сейчас хвост поджала, марш под амбар. Вот ведь подлая какая. Как же ее не бить?

— Нет, вы не бейте. Нынче новая мода пошла, — собак не бить.

— Да это вы про собачье гуманство-то.

Знаю. Это все пустяки. Ежели ее не бить, так она, дьявол, и поноски подавать не будет.

— Будет.

— Да это вы, должно быть, аглицкого видели понтера. Они, черти, так уже и рождаются с поноской: хвост у него сейчас вот! Природная стойка. Мать сосет, а сам стойку делает.

— Какая природная! Дворняжка простая: знаете, бывают лохматые такие.

— Ну?

— Сам видел.

— Ей-богу?

— Ей-богу.

— И подает?

— И пляшет, и поноску подает, и умирает.

Что угодно.

— И умирает? Ах, пес ее возьми! Это занимательно. Как же так это, расскажите!

— Самая простая штука: есть не дают; и до тех пор не дают, пока не сделает. Проморят ее голодом, потом возьмут вот так палку, а здесь кусочек положат — соте! Вот она глядит, глядит... делать нечего, перепрыгнет, а тут ей и дадут кусочек. И таким манером до трех раз, потом уж и без кусочка будет прыгать.

— Н-да. Вот что, — обдумывая, говорил Иван Степаныч, — а это в самом деле должно быть правда.

— Истинная правда.

Рязанов, напившись чаю, пошел в дом; он застал Марью Николавну в кабинете за работою: она сидела на полу, вся в пыли, обложенная книгами. Он остановился в дверях и спросил:

— Александра Васильича нет?

— Он сейчас придет, — весело ответила она. — Здравствуйте!

Она протянула было ему руку, но вдруг спохватилась.

— Ах, нет; не могу вам дать руки, — смеясь, говорила она. — Видите, какая чистенькая.

— Ну, все равно! — сказал Рязанов и сел на диван.

Марья Николавна перебирала разложенные на полу книги, торопливо перелистывала их и некоторые откладывала в сторону. В комнате было жарко, мухи лезли ей в лицо, в рот: она наскоро отмахивалась от них, ни на минуту, впрочем, не переставая разбирать книги. Пришел повар за сахаром; она не глядя

отдала ему ключи и опять с тем же напряженным вниманием принялась за работу. Рязанов поднял с полу первую попавшуюся книгу и развернул: это была книжка «Библиотеки для чтения» 45 года; он ее положил и взял другую: «Отечественные записки» 52-го. Пересмотрев еще десяток, он успокоился; взял лежавшую на столе газету и стал читать.

— Вы читали эти книги? — спросила его Марья Николавна.

— Читал. А что-с?

— Я прежде тоже их читала, а теперь вот начала было искать, да все как-то не могу добиться настоящего толку.

— Какого же вам толку?

— Мне, видите ли, хотелось прочесть как можно больше о народном образовании.

— А! Вам на что же?

— Да чтобы учить.

— Да! Это школу-то? Ну, так вы напрасно только руки марали: здесь этого вы не найдете.

— Нет, я уж нашла несколько статей и отобрала. Вот видите?

Рязанов взял поданные ему книжки жур-

налов, конца пятидесятих годов.

— Что ж вы тут нашли, журнальные статьи-то?

Марья Николавна стояла перед ним и ждала чего-то.

— Журнальные статьи нашли? — повторил Рязанов.

— Ну, да, статьи о народном образовании. Вот одна, — раз; вот другая, — видите? Вот эта тоже о народных школах. Да тут их много; а как же вы говорите, что нет?

— Я вовсе не о том говорю. Разумеется, есть тут всякие статьи: и о народном образовании должны быть; да только написано-то в них совсем не то, что вам нужно.

Марья Николавна, держа книги в руках, в недоумении смотрела на Рязанова.

— Послушайте, я не понимаю, что вы сказали. Как, вы говорите: не то написано?

— Не то-с, — ответил Рязанов. — Вы ведь небось по заглавиям ищите?

— Разумеется, по заглавиям. А то как же еще?

— Ну, никогда ничего и не найдете. Мало ли я какое заглавие придумаю. Это ничего не

значит.

— Как ничего не значит?

— Понимаете, это все равно вот, что вывески такие бывают; вот написано: «Русская правда» или «Белый лебедь», — ну, вы и пойдете белого лебедя искать? а там кабак. Для того чтобы читать эти книжки и понимать, нужен большой навык, — вставая, продолжал Рязанов. — На свежую голову, ежели взять ее в руки, так и в самом деле белые лебеди представятся: и школы, и суды, и конституции, и проституции, и великая х[артия] в[ольностей], и черт знает что... а как приглядишься к этому делу, — ну, и видишь, что все это... продажа навынос.

Рязанов хотел уйти.

— Нет, постойте, — говорила Марья Николавна, загораживая ему дорогу. — Вы мне скажите прежде, что же тут о школах-то написано?

Рязанов сел опять на диван.

— Какие там школы? Тут дело идет о предмете более близком. Школа! Это опечатка. Везде, где написано «школа», следует читать шкура. Вон там один пишет: трудно, говорит,

очень нам обезопасить наши школы; он хотел сказать: наши шкуры. А другой говорит: хорошо бы, говорит, выделывать их на манер заграничных, чтобы они не портились от разных влияний. Видите? А третий говорит: ладаном, говорит, почаще окуривать, ладаном. На себе, говорит, испытал — первое средство. Это все о шкурах. Ну, а публика, разумеется, так как она очень умна, то этого не понимает и думает, что в самом деле разговор идет о легчайшем способе обучения грамоте. Конечно, ей следует внушать, чтобы понимала.

Марья Николавна, закусив губы и сдвинув брови, стояла напротив Рязанова и невольно следила глазами за движениями его рук; он медленно, но крепко свертывал в трубку какую-то книжку.

— Как же это так? — спросила она. — Ведь это значит, все неправда?

Лицо ее вдруг вспыхнуло.

— Что неправда?

— Да вообще, все, что печатается?

Рязанов улыбнулся.

— Что же вы улыбаетесь? Вы скажите! Неправда это все? Я уж буду знать по крайней

мере.

— Нет, оно, пожалуй, кое-что и правда, да только...

— Что только?

— Только надо уметь читать.

— А зачем же так пишут, что нужно еще голову ломать?

— Да что же делать? — привыкли.

— И вы так же пишете?

— И я так же пишу. Какой же бы я был писатель, если бы я так и валял все, что в голову придет. Этак всякий лавочник сумеет написать... Свет-то, видите ли, так уж устроен, — говорил Рязанов, вырезывая из бумаги какие-то городочки, — что когда у человека болит живот, то обыкновенно об этом умалчивают: не принято. По-видимому, что ж тут такого? Самое естественное дело, однако не принято говорить о страдании брюшных органов, и кончено. Светские обычаи требуют, чтобы больной в этом случае не объявлял о своем недуге публично. Голова болит — можно сказать, и нога болит — можно сказать, даже бок болит — хоть в присутствии высоких особ можно сказать; а живот болит — нельзя:



сейчас выведут. Вот подите же! И ничего не сделаешь: обычай. Светские обычаи требуют от вас, чтобы в то время, когда у вас болит живот, чтобы вы беспечно предавались разным забавам и говорили комплименты; а не можете, ну, сидите дома и скажите, что у вас нервная атака.

— Как это нелепо!

— Вы полагаете? Нет-с, позвольте. Светские обычаи вовсе не так бессмысленны, как вам кажется. Они основаны на глубоком изучении природы человеческой; а натура эта такова, что ежели позволить человеку говорить о боли в животе, тогда только и разговору будет, что об одних кишках. Что же тут хорошего, согласитесь сами! А, главное, этим дело ограничиться не может: сейчас пойдут рассуждения — как, отчего, почему болит? Что ты делал, да что ты ел? Не объелся ли? Не надорвался ли с натуги? А что ты такое поднимал? Да кто тебя заставлял? Почему ты не позвал другого и не велел ему поднять? — И рад бы велеть, да не слушается. — Почему не слушается? — Денег нет. — Отчего у тебя денег нет? — Беден. — По какому случаю беден? По-

чему же вот он не беден? Да тут в такую труппу заберешься, что и не вылезешь.

Марья Николавна задумалась и, как стояла у стола, так и осталась неподвижною, с книгами в руках. Наконец, она вздохнула, положила книги на стол и сказала как будто про себя:

— Почему я никогда прежде об этом не думала? — и потом прибавила: — Послушайте, однако, это ужасно гадко — эти приличия.

— Чем же гадко? Цель их состоит в том, чтобы устранить всякие неприятные, докучные разговоры и сделать жизнь нашу легким и веселым препровождением времени.

— Да я этого вовсе не желаю, — запальчиво сказала Марья Николавна.

— А! Ну, это другое дело. Так и объявите, что я, мол, этого не желаю.

Марья Николавна наморщила брови.

— Вы, кажется, смеетесь надо мной!

— А зачем же вы вздор говорите?

— Я не буду вздор говорить.

— Тогда и я не буду смеяться.

Она улыбнулась и начала перелистывать лежавшие на столе «Отечественные записки».

— Скажите, пожалуйста, — заговорила она, положив руку на книгу, — что же вы-то здесь видите?

— В этих книжках-то? — спросил Рязанов и, подумав, отвечал: — Вижу я битву на Куликовом поле, слышу стук мечей, стоны умирающих. «Инде татаре теснят россиян, инде россиянин теснит татарина...», а еще больше того вижу подвигов гражданской глупости, свойственной мирным россиянам.

— И после этого вы сами можете писать?

— А почему ж мне не писать?

— После того, что вы говорите?

— После этого-то и можно; а если бы ничего этого не было, тогда и писать было бы незачем.

Она молча постояла еще несколько минут, потом вдруг весело сказала, показывая на груды валявшихся на полу книг:

— Ну, так давайте же убитых-то подбирать.

— Это можно.

И они оба принялись укладывать книги в шкаф.

В это время вошел Щетинин.

— Что это вы тут делаете?

— Тризну справляем, — ответил Рязанов, нагибаясь над книгами.

— Вот что! А я вот с живыми-то никак не справлюсь, — говорил он, отпирая письменный стол.

— С живыми труднее, — заметил Рязанов.

— Просто беда. Отпросились в город на ярмарку, да вот другой день не являются. Одного милого человека приказчик послал за покупками (тоже и приказчик хорош!)... Знает, что пьющий человек, нет: дал ему денег, а он вот сейчас только вернулся, пьяный-распьянный; ну и, разумеется, ни денег, ни покупок. Черт его знает, где он там шлялся. Поди, вон, добейся от него: он лыка не вяжет. Что это за гадость, — говорил Щетинин, роясь в столе.

— Ну, как же теперь быть? — спросил Рязанов.

— Да! Как быть? Нет, скажи-ка ты теперь, как быть? Ты вот все говоришь...

— Что я говорю?

— Да вот, что там взыскивать не нужно, то да се.

— *То да се*, положим, что я мог сказать: а когда же я тебе говорил, что взыскивать не

нужно?

— Ну, да, разумеется, — неохотно ответил Щетинин.

— Когда же это было?

— Да что тут — когда? Вообще...

— Нет, послушай, скажи, пожалуйста, зачем ты вообще делаешь на меня ложные показания? Ведь тут, брат, свидетели есть: Марья Николавна налицо.

— Вот еще нашел свидетеля, — полушутя ответил Щетинин.

Марья Николавна, в это время уставлявшая книги, вдруг оглянулась, опустила руку, пристально посмотрела на мужа, но, ничего не сказав, опять принялась за книги. Щетинин не заметил этого движения, он повернулся на стуле лицом к Рязанову и продолжал:

— Нет, вот скажи-ка в самом деле: что тут делать, как поступить?

— Это с милым человеком-то?

— Да, с милым человеком. Вот ему доверили деньги, а он их пропил.

— Да ведь я тебе, кажется, говорил уж один раз?

— Ты говорил там, к становому...[45] это

что!

— Как, это что? Стало быть, ты находишь законное возмездие неудовлетворительным?

— Нахожу.

— Ну, так сам выдумай какое-нибудь. Что же ты меня-то спрашиваешь?

— Я хочу знать твое мнение.

— Оно тебе ни на что не нужно. Дело идет о том, как отомстить человеку за личную обиду, так зачем же тут еще посторонние советы? Ведь ты ему доверял, он твоего доверия не оправдал, ты обижен, а не я. Я к нему ничего не чувствую. Хоть бы он тебя самого, со всей твоей усадьбой, со всеми угодами и с пустошами пропил, — мне какое дело?

— Ты представь себя на моем месте.

— Да я и представлять не хочу. На что это нужно? Я никогда в таком положении не буду, а если бы и могло это случиться, так почему я знаю, как бы я тогда поступил! Я, может быть, этого милого человека на кол бы посадил, а может, ограничился бы тем, что вышиб бы ему только два зуба, а может быть, еще сто рублей награждения дал бы ему за это.

— Нет, это все не то. Ты представь себе, что

с тобой теперь вот, в настоящую минуту, так поступили.

— Я не понимаю, зачем тебе понадобились эти представления: они ровно ничего не объяснят. Ну, представь ты себе, что тебя в настоящую минуту кто-нибудь медом вымазал! Что бы ты сделал? Представь, что тебя колесом переехали! Представляй, сколько хочешь, что же из этого выйдет?..

— Я одного только понять не могу... — не слушая, говорил между тем Щетинин, ни к кому не обращаясь.

— Чего ты не можешь понять? — спросил Рязанов.

— Не понимаю, почему не сказать прямо. Если бы он мне сказал: я еду на ярмарку, я хочу пьянствовать. Я бы ему, не говоря ни слова, целковый в руки, — ступай, батюшка! Ну, что ж, праздник! Понятное дело, человек работал целый год, трудился — почему ж ему не выпить, не повеселиться на ярмарке? Разве это преступление? Об одном прошу только — скажи прямо! Нет, обманом, видишь ли, лучше. «Помилуйте, я, говорит, теперь закаялся, капли в рот не беру». Согласись, что это под-

ло?

— Что подло? Закаиваться?

— Нет, обманывать.

— Соглашаюсь, что вообще, в принципе, обманывать подло.

— Ну, вот. Я только об этом и говорю. Скажи прямо!..

— Да. Я вот буду к тебе в карты смотреть — это ничего; а ты ко мне не смотри, — это подло. А то я, пожалуй, и смотреть не буду: скажи прямо, какие у тебя карты. Это прелестно.

— Совсем не то. Играть, так, по-моему, играть на чести.

— Я не знаю, зачем ты тут такие слова пришептываешь. На чести! Враг всегда поступает подло; и чем подлее, тем больше ему чести.

— Ну, нет, брат. Я не желаю придерживаться таких правил.

— А с твоими правилами главнокомандующим сделать бы тебя. Интересно! Отдал бы ты, например, по армии приказ: ночью напасть на неприятельский лагерь; но ведь это подло? На спящих нападать! стало быть, нужно послать адъютанта сказать: эй вы, берегитесь, сегодня ночью мы намереваемся вас



всех передуть; так вы смотрите же, не зевайте!

Щетинин не отвечал.

— Или ты, может быть, желаешь уподобиться Аристиду и побеждать врагов великодушием? Так это ты можешь.

— Что ж такое? Ну, желаю.

— Да. Оно, конечно, с одной стороны и возвышенно, об этом что говорить, — да только в хозяйском-то деле, я полагаю, не безубыточно.

— Это мое дело.

— Разумеется. Побеждай их своими боками, сколько угодно. Никто тебе не мешает. Ну, а вот рассчитывать на великодушие противника — это уж, брат, по-моему, штука рискованная.

— Ни на кого и ни на что я не рассчитываю, кроме одного себя, — с недовольным видом сказал Щетинин и опять принялся рыться в бумагах.

— Так о чем же ты толкуешь?

— Ни о чем не толкую, — ответил он резко, но через несколько минут одумался, запер стол, потянулся и, зевая, сказал: — Так, стало

быть, по-твоему, это война, что у меня Федька Скворцов три целковых пропил?

— Война.

— И что крюковские мужики лес у меня воруют — это тоже война?

— Война.

— Хм! хороша война, нечего сказать!

— Партизанская, брат, партизанская. Больше всё наскоком действуют, врассыпную, кто во что горазд: тут и Федька Скворцов, тут и баба Василиса кочергой воует, и крюковские мужики...

— Это всё партизаны?

— Партизаны.

— И по-твоему выходит так, что везде, где только есть мошеники, там и война. Так, что ли?

— Не совсем так.

— Как же?

— А вот как: везде, где есть сильный и слабый, богатый и бедный, хозяин и работник — там и война; а какая она — правильная или неправильная, это уж не наше дело разбирать.

Щетинин опять замолчал.

— Это, брат, Иван Степаныч даже знает, — продолжал Рязанов, — он мне на днях еще говорил: «Какая, говорит, штука! Я в «Московских ведомостях» вычитал: на всем свете война. Вот, говорит, Персия, уж на что, кажется, пошлое государство, а даже и там, говорит, бабы взбунтовались».

Щетинин нехотя улыбнулся и, подумав, сказал:

— Это значит, по-твоему, что хорошей прислуги незачем и желать. Так, что ли?

— Отчего же? Желать никому не запрещается. Можешь желать все, что тебе угодно.

— Но ты находишь, что это желание безрассудно?

— Нет. Я нахожу только, что оно немножко оригинально. Это все равно, если бы я пожелал, например, чтобы у тебя вдруг вскочил *хороший* волдырь на лице или чтобы ты схватил *хорошую* горячку. Согласись, что ведь это было бы очень оригинальное желание? Не правда ли?

Рязанов поднимал с полу книги и подавал их Марье Николавне. Щетинин сидел задом к письменному столу, откинувшись на кресле

и заложив руки под затылок; на лице его бродила какая-то неловкая, напряженная улыбка: он молча долго водил глазами по комнате, как бы соображая что-то, наконец кашлянул и заговорил, расставляя слова:

— Вот ты там все толкуешь — то не так, другое не так...

— Да, — нагнувшись над книгами, сказал Рязанов.

— А между тем вот уж скоро месяц, как ты приехал; было ли так хоть один раз, чтобы ты мне подал дельный, практический совет, сказал ли ты мне хоть что-нибудь такое, из чего бы я мог извлечь прямую, действительную пользу? А? Вспомни-ка!

Рязанов поднял кипу книг и, держа ее в руках, отвечал:

— Да. Если ты меня приглашал сюда затем, чтобы советоваться со мною о своем хозяйстве, так я тебя поздравляю.

Сказав это, он передал Марье Николавне последние лежавшие на полу книги и вытер себе платком руки.

— Ну, разумеется, не за этим, — быстро заговорил Щетинин, — это ты очень хорошо

знаешь сам. Нет; я думал, что вообще твои мнения имеют больше... практического основания.

— И ошибся. Это жаль!

— Нет; совсем не то. Я давно знаю, что мы с тобой в некоторых вещах не сходимся; но именно на эту разность-то в наших взглядах я и рассчитывал. Я думал, что, высказывая свои убеждения, ты мне уяснишь мои собственные.

— Мм... — промычал Рязанов.

— Да, — торопливо перебил его Щетинин. — Давно известна поговорка, что *du choc des opinions jaillit la verite*[46].

— Как ты сказал?

— Я говорю: *du choc des opinions jaillit la verite*.

— Это не то, что *plenus venter non studet libenter*[47].

— Нет, не то.

— Не то! Ну, так что же дальше-то?

— Да нет, видишь ли, — не слушая, продолжал Щетинин, — это ведь само собой как-то делается. Я говорю, ты мне возражаешь, таким образом борются два мнения. Согласись,

что тогда и выходит какой-нибудь толк, когда борются два противоположные начала: свет и тьма, добро и зло, плюс на минус...

— Дает минус, брат, минус.

— Да! Ну черт с ним! Впрочем, все равно: дело не в сравнении.

— Конечно. Хорошие практики всегда бывают плохие теоретики.

Марья Николавна улыбнулась и села.

— Да. Так вот я и говорю, — несколько недовольным тоном продолжал Щетинин, — нужно только, чтобы спорящие взаимно уважали мнения друг друга.

— Это зачем же?

— Как зачем! Если мы не будем уважать мнений один другого, что же это будет?

— Спор будет.

— Нет, уж это, по-моему, драка.

— И по-моему тоже.

— Стало быть, в этой словесной драке кто кого побьет, тот и прав?

— Тот и прав. Разумеется. Других споров и не бывает.

— Нет, брат, я таких споров не одобряю.

— Ты, стало быть, такие любишь, чтобы

оба были правы?

— Нет. По-моему, если спорить, так спорить так, чтобы не оскорблять противника.

— Правило похвальное. Это что говорить. Только я все-таки не понимаю, к чему ты вел всю эту канитель.

— А я хочу сказать, что вообще я замечаю в последнее время какое-то ожесточение во всех, решительно во всех.

— А прежде не замечал? Так это значит, что ты не только во мне, но и вообще разочаровался в людях. Так?

— Да нет; видишь ли, человек я мирный; я люблю людей, и не могу я, ну, просто не могу смотреть на них как на врагов, против которых надо ежеминутно принимать предосторожности, ежеминутно ждать подкопов... не могу я этого. Ну, что ты хочешь, вот — не могу, да и все.

Говоря это, Щетинин ни на кого не глядел и перочинным ножом скоблил письменный стол.

— Да; вот, говорят, во дни Соломона-царя, — сказал Рязанов, — жить было хорошо: всякий сидел под кущей своей и под виногра-

дом своим, а царь Соломон сидел на престоле и судил всех сам. Ни споров, ни драк в то время не было.

— А по правде тебе сказать, ей-богу лучше было, чем теперь, — заметил Щетинин.

— Кто же виноват, любезный друг, что ты с такими мирными наклонностями и принужден жить в такое военное время? Как же быть теперь? Уж я, право, и не знаю.

— Я, брат, знаю, как мне быть, — вставая, сказал Щетинин.

— Ну, а знаешь, так, стало быть, и разговаривать не о чем, — тоже вставая, сказал Рязанов и ушел.

Щетинин постоял у окна, посвистал, потом спрятал руки в карманы и, поглядывая себе на ноги, медленно пошел к двери.

— Послушай, — заговорила Марья Николавна.

— Что тебе?

Щетинин, не оборачиваясь, остановился в дверях.

— По-каковски это он тебе сказал тогда?

— По-латыни.

— Что же это значит?



— Так, вздор.

Щетинин сделал шаг вперед.

— Нет, не вздор, — вслед ему сказала она.

Щетинин остановился было на одно мгновение, но в ту же минуту поправился и ровным шагом вышел из комнаты.

## IX

Наступило самое жаркое время; начался покос, рожь забурела; знойный, удушливый ветер лениво бродил по озерам, чуть-чуть нагибая верхи камышей. А то вдруг закрутит, взовьется кверху черным столбом и пойдет по полям. Небо стояло сине и безоблачно; по ночам грозы бывали.

В последнее время Щетинин стал работать еще больше прежнего. Он проводил целые дни на хуторе или в лесу; домой возвращался большей частью поздно вечером, усталый, измученный, наедался за ужином простокваши и ложился спать. Споры с Рязановым прекратились совершенно; это случилось вдруг, точно по взаимному соглашению. Оба в одно и то же время перестали спорить, и кончено. Разговоры стали сводиться все больше на простую передачу сведений, возражения ограничивались легкими замечаниями, вроде того, что — да, разумеется, понятное дело: ну, оно, я тебе скажу, а впрочем... конечно... и т. д. Случалось иногда, что Щетинин увлекался каким-нибудь рассказом, а Рязанов слушал мол-

ча и рассматривал в это время скатерть, а выслушав, все-таки продолжал молчать. Щетинин не выдерживал и говорил:

— Ты что молчишь? Разве я не знаю, что ты думаешь?

— Тем лучше для тебя и тем приятнее для меня, — отвечал Рязанов, и сам начинал рассказывать Марье Николавне о том, например, как они со Щетининым, в бытность свою в университете, учились маршировке.

— Славное это время было, — говорил Рязанов — кончатся, бывало, лекции, наслушаешься там всякого этого римского права, соберешь тетрадки — и в манеж. Главное, близко, вот чем хорошо. Инспектор об одном только и просит, бывало: «Не заваливайтесь, господа, ради бога! Сделайте одолжение, подайтесь грудью вперед!» Ну, и подашься.

— Особенно хорош, я помню, был, — продолжал Рязанов. — Троицкий один: семинарист, лет тридцати уж он был, из Оренбурга пешком пришел учиться, занимался историей, уж он теперь профессором. Так вот, бывало, мука-то: не может налево кругом повернуться, что хотите вот. А росту был громадно-

го, сутуловатый, руки длинные. Инспектор пристает к нему: «Господин Троицкий, стойте прямо! Унтер-офицер, поправь господина Троицкого! Чувствуете ли вы локтем товарища?» — «Чувствую-с, Федор Федорович, ба-тюшка, чувствую-с...» — а сам даже зубами за-скребет.

— И вы учились маршировать? — спраши-вала Марья Николавна, с особенным любо-пытством всматриваясь в Рязанова.

— И я учился. И гла-за на-пра-во делал, все как следует. Как же-с.

— Ну, что это? — с недовольным видом го-ворила Марья Николавна. — Зачем же вы это делали?

— А чем же я хуже других?

Впрочем, Марья Николавна этими расска-зами не довольствовалась; она всякий раз, ко-гда оставалась вдвоем с Рязановым, старалась завлечь его в серьезный разговор, кроме того брала у него книги и прочитывала их одну за другой без остановок. Гуляя по саду, она под-ходила к его окну и вызывала гулять. Иногда они уходили далеко в поле или бродили по берегу. Она расспрашивала его о том, что де-

лалось прежде, что делается теперь, и жадно слушала эти рассказы; при этом лицо ее становилось все серьезнее и сосредоточеннее; иногда она даже плакала, но потом быстро утирала слезы и начинала махать себе платком в лицо. Один раз, после такого разговора, она спросила Рязанова:

— Послушайте, неужели он этого ничего не знает?

— Как не знать.

— Так почему же он мне этого никогда не рассказывал?

— Не знаю.

— Я ему этого никогда, никогда не прощу, — говорила она, и глаза ее гневно метались кругом.

Домашнее хозяйство шло своим порядком: она им почти не занималась. Щетинин этих прогулок как будто и не замечал; один раз только он спросил жену:

— А что же твоя школа?

— Да я ее отложила до осени, — отвечала Марья Николавна. — Теперь лето. Кто же будет заниматься? — жарко.

Щетинин посмотрел ей в глаза, но ничего

не сказал и начал петь. Она заговорила о другом.

— Почему вы перестали спорить с Александром Васильичем? — спросила она Рязанова.

— Да вы видите, что ему это неприятно.

— Так что ж такое?

— Зачем же я буду безо всякой нужды раздражать человека?

— Да, это правда. Ну, так вы со мной по крайней мере спорьте. Я очень люблю, когда вы спорите.

Марья Николавна, однако, не могла удержаться и иногда при муже начинала какой-нибудь разговор, имеющий свойство вызывать жаркие прения. Рязанов в подобных случаях обыкновенно прекращал в самом начале зарождающийся спор каким-нибудь коротким замечанием, против которого возражать было нечего.

Один раз вечером он сидел в своей комнате и собирался идти гулять; вдруг входит Марья Николавна.

— Приходите к нам сейчас.

— Зачем?

— К нам гости приехали, и одна барыня тут есть. Мне очень хочется, чтобы вы ее видели.

— К чему же это нужно?

— Ни к чему не нужно, а так... Ну, я вас прошу.

Рязанов пожал плечами.

— Приходите же!

Марья Николавна подобрала свое платье и побежала в дом.

Рязанов застал гостей на террасе; Марья Николавна разливала чай; рядом с нею сидела дама лет тридцати пяти, с худощавым лицом и немного прищуренными глазами, которые она старалась сделать проницательными. Тут же немного поодаль стоял знакомый Рязанову посредник, Семен Семеныч, и разговаривал с мужем этой дамы. Марья Николавна улыбнулась и познакомила Рязанова с гостями. Он сел к столу. Приезжая дама прищурилась еще больше, но, встретясь глазами с Рязановым, заморгала и начала чесать себе глаз. Посредник в то же время говорил ее мужу:

— Что же мне прикажете делать? Их вон

нелегкая угораздила: три года сряду горят. Горят, и кончено. Что же с них взять?

— Да нельзя ли хоть что-нибудь с них получить, — пристал помещик. — Вы в мое положение войдите: мне жену за границу нужно отправлять. Нельзя ли их переселить, что ли?

— Да вы их сколько раз уж переселяли?

— Что ж такое? Ну, два раза. Эка важность!

— Ну, как же вы хотите? Это бесчеловечно. А третий раз переселите, так и вовсе по миру пойдут.

— Да ведь не то, чтобы в самом деле, а нельзя ли по крайней мере хоть припугнуть их переселением?

— Идите чай пить, — позвала их Марья Николавна.

— Нет, вот-с, я вам доложу, Марья Николавна, — говорил посредник, принимая стакан. — Мерси, я без сливок. Досталось мне в участке именье, — Отрада село, — знаете? Две тысячи недоимки, третий год не платят. Что хотите вот! Предместник мой, Павел Иваныч, бился, бился, так и бросил: ничего сделать не мог. И роту водили и драли их — ни-



чего. А я в три недели взыскал все до последней копейки и пальцем никого не тронул.

— Как же это? — спросила Марья Николаевна.

— А очень просто: приехал, созвал, — деньги! — Нету денег, и кончено. Народ — разбойники. — Так нету денег? — Нету. — Хорошо. Я сейчас, кто первый попался из толпы, — сюда его. Ты не хочешь платить? — Не хочу. — Взять его! Другого: — Ты не хочешь платить? — Батюшка, отец родной! — Без разговоров! Взять его! — Да таким манером отобрал десять человек, — в амбар, на хлеб и воду! Время-то, знаете, рабочее, мужику каждый час дорог, — сиди! Старшине сказал: — ты мне отвечаешь за них. Если ты да хоть одну ракалию выпустишь, — всех сыновей твоих в солдаты! Только ты их и видел. Отлично. А сам уехал. Через неделю приезжаю, — ну что, голубчики? как? — Кормилец, батюшка, помилуй! — Ага! покаялись? что-о? — Прикажи нас наказать! — Нет, зачем же? Я вас наказывать не буду, а вот ступайте-ка вы теперь же, при мне, на село и просите своих, чтобы они вас выручили. — Пустил их: через полча-

са семьсот целковых принесли. Прекрасно. Засадить их еще на неделю! Да ведь я вам скажу, до чего-с: как щепки исхудали, глаза впалые у них сделались. Приезжаю в другой раз: опять та же комедия. В три недели все до последней копейки взыскал.

Кончив рассказ, посредник хлебнул из стакана и самодовольно посмотрел на всех.

— Да, — со вздохом сказал помещик. — Вот ведь вы, Семен Семеныч, для других делаете, а для меня не можете. Это нехорошо-с.

— Да ведь странный же вы человек, позвольте вам сказать, — воодушевляясь, заговорил посредник. — Как же вы своих сравниваете? Ваших сколько угодно сажай, ничего не будет, только с голоду подохнут. Что с них взять? ведь они — нищие.

— Нет; это что-с. Это не отговорка. Желания нет у вас. Вот главное-то что.

— И чудак же вы только, извините меня! — закричал посредник.

Начался спор и продолжался до тех пор, пока пили чай. Рязанов все время молчал.

После чаю пришел батюшка, раскланялся и спросил:

— А хозяин?

— На хуторе.

— По обыкновению.

Марья Николавна позвала Рязанова в залу и сказала ему:

— Поговорите, пожалуйста, с этой дамой; мне очень хочется знать, что вы о ней скажете.

— Да ведь я, право, не умею с дамами разговаривать.

— Ну, ничего. А как же вы со мной-то разговариваете? Разве я тоже не дама? — смеясь, говорила она. — А знаете, в самом деле, — прибавила Марья Николавна, — как они мне все стали противны теперь, если бы вы только знали! А делать нечего, надо идти. Пойдемте, — шепнула она ему, выходя на террасу и с улыбкою оборачиваясь назад. Потом она взяла гостью под руку, сошла с нею в сад и позвала Рязанова.

Они втроем пошли по аллее. Начинало смеркаться.

— Вы пишете? — спросила у Рязанова дама.

— Пишу.

— Ах, опишите, пожалуйста, здешний уезд!

— Зачем же это?

— Здесь такие гадости делаются, вы себе представить не можете; особенно в суде.

Рязанов молчал.

— *Vous n'avez-pas idée, ma chère, ce que c'est* [48], — сказала она, обращаясь к Марье Николавне. — Сил никаких нет. Представьте, полгода мужу моему не выдают свидетельства. Пожалуйста, обличите это все, мсьё Рязанов. Я вас прошу.

— Вот скоро новые суды будут, — заметила Марья Николавна.

— *Je vous en félicite*[49], — ответила дама. — Нет, уж избавьте! Знаем мы эти новые. У нас все так. Тоже все кричали: ах, посредники, посредники! Ну, вот вам и посредники. На что они годны, *je vous demande un peu*[50]. Не может недоимки взыскать! Новые суды! *Non, ma chère, on ne nous y prendra plus*[51].

Они молча прошли еще аллею и повернули к дому.

— Вот еще там земство какое-то выдумали, — начала было дама. — Правду Катков го-

ворит, que c'est une kyrielle. C'est bien vrai, ma chère[52]. Я не знаю, что это такое. Денег ни у кого нет. Les chemins sont atroces...[53]

— Не хотите ли отдохнуть? — перебила ее Марья Николавна, входя на лестницу.

— Нет-с, вот в Пензе случай был тоже, — говорил батюшка при появлении Рязанова. — Идет по улице духовное лицо-с, а по ту сторону мещанин какой-то пьяный, да вот эдак: фю-фю-фю! О-го-го! говорит...

Батюшка встал со стула, подперся в бок рукою и представил мещанина.

— Нет-с, как вы полагаете? Мещанина-то ведь за эти дела... тово, сослали. А всего его слов было, что о-го-го. Так вот оно что-с, — заключил батюшка, насмешливо поглядывая на Рязанова.

— Это что, — сказал посредник. — В Саратовке случай был. Как я одного молодца оборвал!..

Рязанов вышел в залу.

— Послушайте, нет, вы уйдите отсюда, пожалуйста. Я видеть их не могу с вами вместе, — сказала Марья Николавна.

— Да я и так хотел уйти.

— Мне досадно, гадко. Простите меня, что я позвала вас сюда!

Рязанов ушел во флигель и лег спать. Часу в двенадцатом пришел туда посредник. Ему приготовили постель в конторе.

— А я вам хочу маленькое предложение сделать, — сказал он, входя к Рязанову.

— Какое предложение?

— Не хотите ли завтра со мной прокатиться по участку? Для вас, как для столичного жителя, это будет любопытно.

Рязанов подумал и согласился.

# Х

**В** четвертом часу утра приказчик разбудил Рязанова и посредника. Вышли на крыльцо: погода хмурая, петухи поют, того и гляди дождь пойдет; у подъезда стоит легонький тарантас. Посредник зеваает и охает.

— И охота вам! Спали бы, — ворчит Иван Степаныч, в одной рубашке выглядывая из окна.

— Нельзя, батенька, служба, — отвечает посредник.

Сели, поехали.

Народ на селе собирается в поле; сонные бабы с ведрами, овцы, едкий запах свежего дыма, мужики шапки снимают...

— Здорово! — невыспавшимся голосом покрикивает им посредник и засыпает.

Выехали в поле: роса, ветерок поддувает, небо с востока покраснело, из побуревших озимей вылетает перепел...

Овраг, заросший орешником, внизу — мост. Пристяжные, понутив головы, шагом спускаются под гору и дружно подхватывают в гору; вдруг сильный толчок: посредник

всхрапывает, открывает глаза, бессмысленно смотрит по сторонам и опять засыпает.

Туман поднялся, все чище и чище становится даль, ярче цвета, прозрачнее воздух, и встают кругом одно за другим далекие села, леса и озера... Вдруг засверкала роса, загорелась медная бляха на шлее у коренной, и побежали от лошадей по траве длинные черные тени: солнце взошло...

Рязанов глядел, все глядел, как лошади бегут, как жаворонки сверху падают в зеленую рожь и опять, точно по ступенькам, поднимаются выше и выше, как стадо пасется по косогору: вон лежит в лощине свинья, а на свинье сидит ворона.

\* \* \*

— Семен Семеныч! а, Семен Семеныч!

— Мм?

— Приехали.

— А! Приехали. Где старшина?

— Я здесь, Семен Семеныч. Пожалуйста, я вас высажу.

— Самовар есть?

— Сейчас будет готов.

— Живо! Ну, как у вас? — спрашивает по-



средник, входя в волостное правление.

— Все слава богу-с, — кланяясь, отвечает старшина.

Писарь, в нанковом пиджаке, сметает рукавом пыль со стола, тоже кланяется и отходит к стенке.

— Хорошо, — говорит посредник, садится и все еще сонными глазами осматривает стены. Лицо у него измято, вдоль лба красный рубец.

Старшина стоит, наклонившись немного вперед и заложив руки за спину.

— Принесите-ка там портфель.

Старшина с писарем бросаются вон из избы.

Солнце начинает сильно пригревать, мухи толкуются в окне, на дворе отпрягают лошадей.

— Вот этот у меня старшина ничего, — говорит посредник Рязанову. — Только неопытен еще, расторопности мало.

— Мм, — отвечает Рязанов.

Старшина бережно, точно боится расплескать что-нибудь, вносит портфель и, положив его на стол, отходит к сторонке.

Писарь на цыпочках крадется к шкафу и

вытягивается за спиною старшины.

— Ну, а недоимка у вас как? — спрашивает посредник, надевая себе на шею цепь.

— Плохо-с, — со вздохом отвечает старшина.

— Что ж ты, братец, не понуждаешь?

— Понуждаем-с, — вполголоса отвечает писарь, бесстрастно глядя на посредника.

— Мы понуждаем-с, — уныло склоняя голову набок, повторяет старшина.

— Стало быть, плохо понуждаешь, — говорит посредник. — Вон помещик жалуется мне, что вы до сих пор не можете остальных пятисот уплатить с прошлого года, с октября. Ведь это срам!

Писарь стремительно подходит к столу и, порывшись в бумагах, почтительно указывает мизинцем в книгу, говоря:

— С пятнадцатого февраля сего года остается четыреста девяносто пять рублей семьдесят две копейки-с.

— Ну да, — подтверждает посредник. — Слаб ты, брат: вот что я тебе скажу, — обращается он к старшине.

Старшина вздыхает.

— Разве, ты думаешь, мне приятно слушать жалобы на вас?

Старшина наморщивает брови и старается не глядеть на посредника.

— Ну, опишут, продадут: что хорошего? Сам ты посуди.

— Хорошего мало-с, — рассматривая свои сапоги, отвечает старшина.

— То-то вот и есть, — наставительно заключает посредник. — Сами вы себя не бережете.

Несколько минут тяжелого молчания.

— Ох-охо-хо, — вздыхает посредник. — Так как же, брат?

— Чего извольте? — тревожно спрашивает старшина.

— Насчет самовара-то!

— Шумит-с.

Писарь бросается в дверь.

— Н-да, — в раздумье произносит посредник.

— Все божья воля-с, — со вздохом замечает старшина.

— Да, брат, вот как продадут, тогда и узнаешь божью волю.

Слышно, как в сенях писарь раздувает самовар.

— Дела какие-нибудь есть? — внезапно спрашивает посредник.

Старшина глядит в дверь на писаря и манит его пальцем.

— Есть, вашескродье! — входя в комнату и обчищаясь, говорит писарь. — Жалоба временнообязанной крестьянки Викулиной, сельца Завидовки, на побои, нанесенные ей в пьяном виде крестьянином того же сельца, Федором Игнатьевым.

— Разобрали?

— Разобрали-с, — весело отвечает старшина.

— Как решили?

— А так решили, что малость попужали обоих-с.

— То есть как?

— Да то есть хворостом, — уже совершенно смеясь, отвечает старшина.

— А! Это хорошо. Главное, у меня пьянства этого чтобы не было. Слышишь?

— Слушаю-с.

— Еще что?

— Еще-с... — сделав шаг вперед, доносит писарь. — Еще дело о загнати двух свиней с поросятами, принадлежащих удельного ведомства крестьянину Петру Герасимову.

— Кто загнал?

— Здешний обыватель-с. Да Петр Герасимов жалуется теперь, что так как, говорит, во время загнания, говорит, мальчишке его нанесены были побои...

— Ну!

— Но, а здешний обыватель в показании своем показал, что якобы то есть ограничился надранием вихров-с.

— Да. Ну, так что же теперь?

— Да они, Семен Семеныч, насчет того, то есть, пуще сумляваются, — вмешивается старшина, — что которые, говорит, например, эти самые свиньи теперь загнаты...

— Да...

— То есть неправильно-с, — добавляет писарь.

— Это так точно, — подтверждает старшина. — Почему что как у них это смешательство вышло, ну и по заметности...

— Вражда эта у них идет давно-с, — таин-

ственно сообщает писарь. — И собственно на-  
счет баб-с.

— Да что тут! Это прямо надо сказать, та-  
кую они промеж себя эту пустоту завели, та-  
кую-то пустоту... Ах, никак самовар-от ушел.

Старшина выбегает в сени и приносит са-  
мовар; писарь подает чашки и связку кренде-  
лей.

— Как же решило дело-то? — спрашивает  
посредник.

— Да никак не решили, — отвечает стар-  
шина, выгоняя из чайника мух. — Кшу, про-  
клятые!.. Хотели было они, признаться, до ва-  
шей милости доходить...

— Внушение сделано, чтобы не утруждать  
по пустякам, — добавляет писарь.

— Оштрафовать нужно, — решает посред-  
ник. — Ты их оштрафуй по рублю серебром в  
пользу церкви. Слышишь?

— Это можно-с.

Посредник заваривает чай; Рязанов чита-  
ет развешанные по стенам циркуляры и спис-  
ки должностных лиц.

— А главное, — продолжает посредник, —  
вино. У меня чтобы и духу его не было. Слы-

пишь?

— Слушаю-с, — неохотно отвечает старшина.

— От него все и зло, — рассуждает посредник.

— Это так-с, — утверждает старшина.

Писарь сдержанно кашляет в горсть.

— Пьяный человек на все способен. Он и в ухо тебя ударит...

— Ударит. Это как есть.

— И подожжет.

— Подожжет-с. Долго ли ему поджечь.

— Вон они, пожары-то!

— Да, да. О, господи!

— Народ толкует: поляки жгут...

— Толкуют, точно. Ах, разбойники!

— Нет, это не они.

— Да, не они. Где им!

— Это все от вина.

— Так, так. Это все от него, от проклятого. А что я вас хочу спросить, Семен Семеныч.

— Что?

— Теперь который мы помещику оброк платим...

— Ну?

— Народ болтает, сколько, говорит, ни плати, все равно это, говорит, что ничего.

— Да. Пока на выкуп не пойдете, это все не впрок. Век свой будете платить, и все-таки земля помещичья.

— Вот что! значит, его же царствию не будет конца.

— Не будет. Что ж делать? Сами вы глупы.

— Это справедливо, что мы глупы. Дураки! Да еще какие дураки-то!

— Так-то, ребяташки. Сколько я вам раз говорил, — вздохнув, говорит посредник. — Сливки есть?

— Есть-с.

Старшина приносит в деревянной чашке сливки и вытаскивает оттуда мух.

— О, каторжные! Извольте, Семен Семеныч!

— Что, и у вас, должно быть, много мух?

— Такая-то муха — беда, — почтительно улыбаясь, отвечает старшина. — И с чего только это она берется?

Посредник с Рязановым пьют чай; старшина смотрит в окно; писарь от нечего делать приводит в порядок лежащие на столе бума-



ги, перья и сургуч.

Молчание.

— Ну, а школа как идет? — спрашивает посредник, прихлебывая из стакана.

— Слава богу-с.

— Учит батюшка-то?

— Когда и поучит. Ничего.

— Много учеников?

— Довольно-таки.

— А сколько именно?

— Да так надо сказать... — старшина вопросительно смотрит на писаря. — С пятка никак есть.

— Вовсе мало-с, — отвечает писарь.

— Не так, чтобы очень много-с, — кивая головой, докладывает старшина.

— Ты за этим наблюдай, — говорит посредник, — чтобы непременно учились. От этого для вас самих же польза будет.

— Известно, польза-с. Типерь который мальчик грамоте знает, и сейчас он это может, например, всякую книжку читать, и что к чему. Очень прикрасно-с.

— Да, вот кабы побольше грамотных было, и пьянства бы меньше. Вместо того, чтобы в

кабак идти, он стал бы книжку читать.

— Книжку. Сейчас бы книжку читать. Это верно-с.

— Отчего же это так мало охотников-то учиться?

— А так, надо полагать, по глупости это больше-с.

— Что ж, твое дело им внушить, растолковать.

— Я уж довольно хорошо им внушал и батюшке тоже говорил: вы, говорю, батюшка, глядите, посредник велел, так чтобы нам с вами в ответе не быть.

— А он что?

— Ну, а он, — хорошо, говорит, ступай! У меня вон, говорит, сено-то еще не кошено. Вон он что говорит. Опять и мужички вот тоже из того опасаются, что которых грамотных, слышь, всех угнать в кантонисты хотят.

— Это все вздор. Вы этому не верьте!

— Слушаю-с.

— А что, бумага, которую я намедни прислал, — подписали?

— С-сумляваются-с.

— Вот я тебе покажу, — сумляваются! Ка-

кой же ты старшина после этого? Дня через три я назад поеду, так чтобы к тому времени была подписана. Слышишь?

— Слушаю-с, — нетвердо выговаривает старшина.

Посредник начинает потеть и вытирает себе лицо платком.

— А вот я забыл вашей милости доложить: батюшка тут приходил с садовником. У них опять эти пустяки вышли.

— Какие пустяки?

— Из телят. Зашли батюшкины телята к садовнику в огород, садовник их загнал, стало быть это, на двор, запер. Батюшка, значит, сейчас приходят: так и так, как ты мог полковницких телят загонять?

— Каких полковницких телят?

— Да то есть это батюшкиных-то. Он так считает, что, мол, полковник я.

— Да.

— Ну, теперь это теща его выскочила, телят обнаковенно угнали...

— Ну, что же?

— Кто их разберет? Садовник жалится: он, говорит, у меня на шесть целковых обощии

помял, а батюшка теперь за бесчестие с него то есть требует пятнадцать, что ли то...

— Пятнадцать целковых, — подтверждает писарь.

— За какое же бесчестие?

— Ну, тещу его, слышь, обидел.

— Как же он ее обидел?

— Слюнявой, что ли то, назвал. Уж бог его знает. Слюнявая, говорит, ты, — смеясь, объясняет старшина. — Ну, а батюшка говорит: мне, говорит, это очень обидно. Пятнадцать целковых теперь с него и требует.

Посредник тоже засмеялся; даже писарь хихикнул себе в горсть.

— Ну, это я после разберу, — вставая, говорит посредник. — А теперь, брат, вот что: велика ты мне лошадок привести.

— Готовы-с!

— Молодец! — говорит посредник, трепля старшину по плечу.

Старшина кланяется, потом вместе с писарем усаживают посредника в тарантас.

На козлах сидит мужик, лошади земские.

— Ты дорогу-то знаешь ли?

— Будьте спокойны.

— Гляди, малый, — толкует мужику старшина, — чуть что, так ты и того, полегоньку.

Мужик самоуверенно встряхивает шапкой.

В это время в конце села показывается небольшая кучка людей. Завидя посредника, они еще издали снимают шапки и, понутив головы, медленно подвигаются к правлению. Впереди всех идет баба, за нею молодой мужик, позади идут старики.

— Это еще что такое? — всматриваясь в них, спрашивает у старшины посредник. — Это, кажется, опять давешние муж с женой, что разводиться-то хотели?

— Они самые-с, — улыбаясь, отвечает старшина.

— Вот, батенька, — говорит посредник Рязанову, — обратите внимание, женский вопрос! Вы как об нас думаете? И мы тоже не отстаем. Можете себе представить, с тех пор, как объявили им свободу, недели не проходит без того, чтобы не приходили бабы с просьбою развести их с мужьями. Потеха.

Старшина с писарем смеются.

— Ну, и что же? — спрашивает Рязанов.

— Да у меня этот вопрос решается очень просто... Здорово, ребятушки, — говорит он просителям, которые в это время подходят к крыльцу.

Они молча кланяются.

— Что скажете?

— К вашей милости.

Баба становится на колени.

— Встань, голубушка, встань! Что валять-ся? Говори дело! Видно, опять накутила? Старички, сказывайте, как и что!

— Чаво сказывать-то, батюшка, Семен Семеныч. Вот баба от рук отбилась совсем.

— Слышишь, что старики говорят? Как тебя, — Маланья?

— Аграфена.

— Слышишь, Аграфена? И не стыдно это тебе?

Баба не выказывает стыда ни малейшего; даже напротив того, окидывает стариков презрительным взглядом — под глазом у ней синяк. Посредник несколько затрудняется.

— Не слухатся, вовсе не стала слушаться, — шамшит сзади старик.

— Ни за скотиной, ни что, — добавляет

другой.

— Такая-то озорница баба, беда, — подтверждает старшина.

Посредник качает головой.

— У них вся родня такая непутная, — замечает старшина.

— Как же это ты так, Аграфена? А? — спрашивает посредник.

Баба ничего не отвечает.

— А ты, молодец, что же смотришь? — обращается он к ее мужу. — Ведь ты ей муж, глава.

Муж встряхивает волосами. Лицо у него глупое и печальное, губы толстые.

— Ты должен учить жену, чтобы она почитала старших, — наставляет его посредник. — Да.

Муж насупливает брови и сосредоточенно смотрит в землю, держа шапку в обеих руках.

— А ежели твоя жена не будет стариков уважать, — продолжает посредник, — что же тогда будет? Ну, хорошо ли это? — подумай-ка.

— Вот и я так-то им говорю завсегда, — добавляет старшина, указывая на просите-

лей, — потому нам в законе показано: ты бабу кормить корми, а учить учи!

— Ну, это ты врешь, — останавливает его посредник. — Этого в законе не показано; но мы должны жить в любви и в согласии, потому что так богу угодно.

— Это справедливо-с, — подтверждает старшина.

— Ну да; однако мне некогда тут с вами растабарывать. Ты, голубушка, дурь-то из головы выкинь. Ежели кто тебя станет сбивать — приди и скажи вот ему, — старшине. А ты, молодец, присматривай за женой и внушай ей почтение к старшим! Ну, теперь поиди сюда, Аграфена, и ты, как тебя?

— Митрий.

— Аграфена и Дмитрий, поцелуйтесь и живите, как бог повелевает: любите друг друга, уважайте родителей, слушайте начальников. Дай бог вам счастья.

— Семен Семеныч! — говорит старшина.

— Что ты?

— Да уж прикажите ее кстати поучить старичкам-то. Маненько попужать бы ее здесь, в правлении, для страху.



— Нет, пока не нужно. Итак, друзья, ступайте с богом!

Просители кланяются и уходят. Старшина с писарем усаживают посредника в тарантас.

— Ну, совсем, что ли? — спрашивает старшина.

— Совсем.

— Хорошо сели?

— Хорошо.

— Ну, господи благослови! Ямщик, трогай!

— А, дуй вас горой!

Поехали.

\* \* \*

— Теперь еще от них много и не требуйте, — говорит Рязанову посредник.

— Да я ничего не требую. Впрочем, и теперь уже успехи заметны значительные.

Разговор не клеится. Посредник понемногу начинает напевать романс:

— «Скажите ей, как дорого мне стоит...» Здорово! — между пением покрикивает посредник встречным мужикам.

— «И трудно мне...» Откуда везешь? — высунувшись из тарантаса, спрашивает он у мужика, везущего бревна. Мужик торопливо

дергает лошадь и, скинув шапку, кричит:

— Из Ключей.

— Почем покупал?

Но уже ничего не слышно, что отвечает мужик; видно только, что он дергает лошадь, разевает рот и машет рукою.

— «Скажите ей, как стр-р-рашно сердце ноет...» — снова затягивает посредник.

Едут полем; земские лошади с выщипанными хвостами бегут резво; ноги у них косматые, уши длинные.

— Эх, вы, гусары, — весело покрикивает ямщик, постегивая их по резвым ногам.

Жарко становится. В поле тишь; на небе неподвижно стоят белые облака с висящими в воздухе ястребами.

Посредник перестает петь: одолела его дремота; у Рязанова тоже начинают слипаться глаза...

\* \* \*

— Ты что же не кланяешься? а?

Рязанов открывает глаза: деревня, у тарантаса стоит мужик, посредник его спрашивает:

— Отвалятся у тебя руки — шапку снять? а?

Мужик молчит.

— Мне твой поклон не нужен, — толкует ему посредник. — Вас, дураков, вежливости учат для вашей же пользы, понимаешь?

— Понимаем, — глядя в поле, отвечает мужик.

— А вот, чтобы ты вперед помнил и со всеми был вежлив, я тебя везу на сутки в амбар. Друзья, — обращается посредник к стоящим поодаль мужикам, — отведите этого невежу к старосте и скажите, что, мол, посредник велел его на сутки в холодную запереть.

Два мужика подходят, берут невежу под руки и ведут, не оглядываясь, тихо ведут, держа свои шапки под мышками. Невежа растопырил локти и переваливается из стороны в сторону; ноги у него короткие, босые.

— Трогай, — говорит ямщику посредник.

— Но! милые, — задумчиво вскрикивает ямщик.

Едут молча.

— Все еще из них эту грубость никак не выбьешь, — смеясь, обращается посредник к Рязанову.

— Да, — отвечает Рязанов.

Съехали под гору. За речкой другая деревня видна. Попадаются мужики из поля, конные и пешие с косами на плечах.

— Здорово, ребятушки! Обедать, что ли? — спрашивает их посредник.

— Обедать, кормилец.

— Хлеб да соль, — вслед им кричит посредник.

Въехали в деревню. По самой середине улицы лежит что-то большое, покрытое холстиною.

— Стой! Что это? Ямщик, открой!

Лежит мужичье тело, в стоптанных лаптях, брюхо у него раздуло, глаза выпучены; в головах у него чашечка стоит, в чашечке — медные деньги.

— Эй, баба, что это за тело?

— Прохожий, родимый, прохожий. Вот уже пяты сутки помер, — подходя к тарантасу, отвечает баба. — Бог его знает, с чего это он так-то. Пришел с товарищем, зачал разуваться, закатился, закатился...

— Где ж товарищ?

— В избе сидит, воеет.

— Сотник донес становому?

— Донес.

— Что ж он?

— А бог его знает, что он.

— Пахнет покойник-то?

— И-и, беда! Ишь, раздуло как.

— Ну, царство небесное, — вздохнув, говорит посредник и бросает в чашку двугривенный.

— Трогай!

\* \* \*

Опять полевая дорога, жара и пыль, вьющаяся из-под лошадей; чахлый кустарник вдоль оврага; мужики, вереницею далеко стоящие в траве и дружно машущие косами; жидкий осиновый лесок, с кочками, комарами и небольшими лужицами зеленоватой воды между кочек. Сейчас же за осинником начинается село, разбросанное по косогору; за речкой стоит старый помещичий дом, с серыми стенами, зелеными ставнями и развалившейся деревянной оградой; немного дальше, в лощине, другой, маленький, новенький, с молодым стриженным садом и с купальнею на пруду. Дальше еще — барская усадьба; длинный, неуклюжий дом, с галереями, колонна-

ми, выбитыми окнами и провалившеюся крышею; на косогоре виднеется еще дом, с соломенною крышею, но все-таки барский: ходят по двору тощие борзые собаки, клопочут индейки, попадаются и дворовые люди, с длинными примазанными висками, в казаки-кахулах.

— Помещиков, помещиков-то здесь... — как будто всматриваясь во что-то, говорит посредник.

— Много?

— Как собак.

— И хорошие помещики? — немного помолчав, спрашивает Рязанов.

— Куды к черту хорошие! Всё голь одна. Разорено!.. Гроша ни у кого за душой нет.

— Значит, все погибло, кроме чести.

— Нет; тут все, тут уж и честь погибла. Да и какая там честь, когда нечего есть. Поверите ли, — вдруг оборачиваясь к Рязанову, говорит посредник, — обидно! за своего брата, дворянина, обидно.

— Я думаю.

— Нет, ведь что они только делали, если порассказать; да и до сих пор что делают с

этими несчастными крестьянами. Вы себе представить не можете, что это за народ. Где только можно прижать мужика, уж он прижмет, своего не упустит.

— Ну, а мужики-то свое упускают?

— Разумеется, если правду сказать, и мужик себя в обиду не даст: не тем, так другим, а уж доедет и он помещика.

— Стало быть, здесь происходит взаимное доезжание. Ну, а вы-то что же тут?

— Как что? Да ведь роль мирового посредника состоит...

— В чем-с?

— Ну, в разбирательстве там разных недоразумений.

— Из-за чего же возникают эти недоразумения?

— Да ведь вот вы видели: из-за разных там потрав и так далее.

— Одним словом, из-за имущества. Так ведь?

— Да, так.

— То есть одному желательно приобрести то, что другой вовсе не желает отдавать. Из-за этого?

— Ну, да.

— Так в чем же тут может быть недоразумение? В том, что ли, что в душе-то я и желал бы отдать вам эту вещь, но мне кажется, что я не желаю. Так, что ли?

— То есть как?

— Да вот я, например, возьму у вас эту подушку и думаю себе: не отдам я ему; лучше я сам на ней буду спать. А тут приходит такой прозорливец и говорит мне: это — недоразумение. Ты хотя и думаешь, что тебе не хочется отдать Семену Семенычу его подушку, но тебе это только так кажется, а в душе ты сам этого желаешь и даже после будешь благодарить меня, что я велел тебе отдать эту вещь ее законному владельцу. Так-с?

— Разумеется, оно... видите ли... да я вот вам случай расскажу. Есть тут у меня в участке имение, в котором я должен сделать разверстание угодий, вот я и хочу приступить, а земля-то, оказывается, принадлежит крестьянам с незапамятных времен. Деды еще их купили на свои кровные деньги; но так как они сами тогда были помещичьи и не имели права владеть землею, то и купили на имя поме-



щика. Тот помещик давно умер, а нынешний владелец ничего знать не хочет.

— Ну, и что же-с?

— Да то-с, что отнимут ее у крестьян, то есть не отнимут, а заставят ее выкупать.

— В другой раз?

— Да; в другой раз. Что ж прикажете?

— А вы-то что же?

— Да я тут ничего сделать не могу.

— А губернское присутствие?

— И оно тоже ничего не может, потому что в подобных случаях принимаются в расчет только одни письменные документы. Нет, мое-то положение представьте себе! Я говорю крестьянам: владелец желает отдать вам вот такой-то участок, а они мне отвечают: да ведь это вся земля-то наша.

— И вы уверены, что она действительно им принадлежит?

— Да как же! Совершенно уверен.

— А все-таки говорите, что владелец дает вам такой-то участок?

— А все-таки говорю. Что ж делать-то?

— Да. Это действительно недоразумение. И все в таком роде?

— Что?

— А недоразумения-то?

— Да почти что...

— Мм... Деятельность почтенная.

В это время тарантас поравнялся с помещичьей усадьбой: новенький домик, крытый соломой *под щетку*, вокруг с десяток молодых лип; тут же неподалеку новая изба, сарай и амбар. На дворе стоит сам владелец, седой, в архалуке, без шапки, кланяется.

— Мое почтение! — крикнул ему посредник и сделал ручкою. — Вот анафема-то, — прибавил он, обернувшись к Рязанову. — То есть такая треклятая бестия, я вам скажу, что вы и в Петербурге ни за какие деньги не сыщете. Замечательная бестия! Он какие штуки делает, например: снял он полдесятины земли у кого-то подле самой дороги, посеял там овса, что ли, и караульщика посадил караулить. Как только скотина пойдет мимо, уж непременно какая-нибудь заденет или щипнет, — караульщик сейчас ее цап. Потрава! Ну, и берет штраф. Вот ведь шельма какая! А начнешь ему говорить, — помилуйте, говорит, что же, ведь я человек небогатый; меня

всякий может обидеть. Я этим только и кормлюсь. Ну, что вы тут сделаете с таким человеком? Остается плюнуть.

\* \* \*

За усадьбою пошли крестьянские зады, с гумнами и конопляниками; кузница, мельница на пригорке.

— А вот сейчас будет дом тоже одного любопытного субъекта, — объяснил посредник. — Представьте, он что сделал: когда получен был манифест об освобождении, и он, разумеется, получил, прочел, потом сейчас же запер в стол и говорит своим людям: «Если кто-нибудь из вас да посмеет только пикнуть об этой воле, — запорю».

Вправо показался помещичий дом, стоящий задом к лесу, выкрашенный дикою краскою с белыми разводами. Собаки выскочили со двора и бросились под лошадей.

— Знаете что? Заедемте обедать к одному господину. Мне же к стати нужно к нему для соглашения с крестьянами.

Рязанов согласился; посредник велел ямщику завернуть на двор. На крыльцо вышла баба с лоханкою выливать помои.

— Дома барин? — спросил ее посредник.

— Дома, — сказала баба, выплеснув помои.

— Ну, тоже и этот гусь хорош, — сказал Рязанову на ухо посредник, вылезая из тарантаса. — Наш брат, военный.

В передней никого не было, только охотничий рог да волчья шкура висели на стене. В зале, среди комнаты, стоял сам хозяин, еще молодой человек, с подвязанной щекой, и жаловался на зубную боль.

— Ничего говорить не могу, — сказал он, придерживая щеку. — Садитесь, пожалуйста.

Посредник спросил его о деле и намекнул насчет обеда.

— А я вот ничего есть не могу третьи сутки: зуб смерть болит. Впрочем, я сейчас велю.

Подали водки и огурцов.

— Вы бы выдернули, — посоветовал посредник.

— Ммм... — застонал хозяин и замахал рукою. — Боюсь.

Посредник вздохнул и выпил водки; Рязанов тоже выпил. Помолчали. Хозяин ходил по комнате и плевал в угол. Через час принесли битки и яиц всмятку. Поели.

— Нельзя ли кликнуть мужиков? — спросил посредник.

Хозяин скрылся. Кликнули мужиков; посредник вышел к ним на крыльцо и начал соглашать их с помещиком. Мужиков было немного: всего человек пять; однако они не соглашались. Посредник несколько раз входил в комнату, весь красный и в поту, выпивал наскоро рюмку водки и, закусывая черным хлебом, вполголоса говорил хозяину:

— Ничего не поделаешь. Главное, этот, анафема, кузнец. Да вы прикажите его удалить.

— Ах, да вы не слушайте их, делайте что нужно, — отвечал хозяин, сходяв предварительно в угол.

Посредник задумался, пожал плечами и опять отправился на крыльцо, но через несколько минут вернулся, говоря, что мужики еще требуют лугов. Хозяин выслушал, не говоря ни слова, потом вышел на крыльцо, сделал из своих пальцев какой-то знак и молча показал его мужикам. Мужики посмотрели и тоже ничего не сказали.

— Ну, что, православные, видели луга? —

спросил их посредник, когда хозяин вернулся в комнаты.

— Видели, — отвечали мужики.

— Вот то-то и есть.

Хозяин ходил по зале, придерживая щеку и покачивая головой из стороны в сторону. Вдруг он повернулся, опять вышел к мужикам и, сдвинув со рта повязку, сказал кузнецу в самую бороду:

— Вот только что у меня зубы, а то бы я тебе показал. Моли бога, что зубы болят.

Кузнец попятился.

Соглашение состоялось до заката солнца, и все-таки ничего из этого не вышло. Наконец посредник махнул рукой и велел подавать лошадей.

Поехали. Стало смеркаться.

— Куда ж теперь ночевать? — спросил у ямщика посредник.

— Да в волостную, к Петру Никитичу. Больше некуда.

— Ступай к Петру Никитичу.

— Там спокой, — заметил ямщик.

— Что-о?

— Спокой, мол.

— Черта там спокой, — недовольным голо-  
сом сказал посредник. Он был расстроен, но,  
приехав в волостную, несколько успокоился  
действительно.

Писарь, отставной солдат, собрался было  
спать. Зажгли свечку, послали за старшиной.

— Поглядите, — говорил посредник Ряза-  
нову. — Сейчас придет Петр Никитич. Вот го-  
лова-то, министр! Что, нерешенные дела есть  
какие-нибудь? — спросил он у писаря, уже  
стоявшего навытяжке у двери.

— Никак нет, вашескородие.

— Стало быть, все благополучно?

— Точно так, вашескородие.

— Вот видите, — сказал посредник Рязано-  
ву, самодовольно улыбаясь. — Уж я наперед  
знаю, что у Петра Никитича все в порядке; ни  
жалобы, ни драк, ни пьянства, ничего.

— Что же, тут общество трезвости, что  
ли? — спросил Рязанов.

— Нет, какое там общество! Тут в третьем  
участке вздумали было крестьяне зарок дать  
(это еще до меня, впрочем), ну, и чем же кон-  
чилось? — передрали только их за это, боль-  
ше ничего и не вышло. Теперь опять такое

пьянство пошло, просто мое почтение. А здесь нет пьянства благодаря распорядительности Петра Никитича.

Писарь во все время неподвижно стоял у двери и только иногда подходил к столу, ловко плевал себе на пальцы и, расторопно сняв со свечи, опять уходил к двери; кашлять и сморкаться отправлялся в сени. В комнате было душно, маятник стучал медленно, поскрипывая и задевая за что-то, по стенам сидели мухи; на улице далеко где-то слышалось пение; в сенях кто-то возился и сопел...

— А что, не залечь ли нам на боковую, — зевая, сказал посредник, но в это время, мерно стуча сапогами, вошел старшина, поклонился и стал среди комнаты.

— Вот-с, вот вам рекомендую, — показывая на него рукою, сказал посредник.

Старшина, небольшой плотный мужик, с проседью и спокойным лицом, еще раз поклонился и, заложив руки назад, молчал.

— Ну, Петр Никитич, как у вас, все благополучно? — спросил, улыбаясь, посредник.

— Все благополучно-с, — степенно отвечал старшина.



— Что уж и говорить про тебя! Разве у тебя бывает когда-нибудь неблагополучно?

— Случается-с.

— Ну, полно!

Старшина почтительно улыбнулся.

— А насчет той бумажки, что я прислал, как? подписали?

— Подписана-с.

— У тебя, значит, без сумленья?

— У меня этого нет-с.

— Молодец!.. Нет, вот я вам про него расскажу анекдот, — говорил посредник. — Праздник тут был в селе; мужики, обыкновенно, перепились. А он, надо вам сказать, заранее их предупреждал: смотрите, говорит, праздник придет, пить можете, гулять сколько угодно; ну, только чтобы безобразия у меня не было никакого. Хорошо. Вот перепились мужики так, что многие валялись на улице. Он их всех велел подобрать и — в амбар. На другой день у них, разумеется, голова с похмелья трещит. Петр Никитич мой ведет их к церкви, ставит на паперть на колени и по сту поклонов каждому велит сделать. Молитесь! Я, говорит, наказывать вас не буду, а вот по-

молитесь-ка богу, чтобы он простил ваше вчерашнее безобразие. Ну те, делать нечего, кладут поклоны, а он стоит да считает. Так, я вам скажу, мужики мне говорили: лучше бы, говорят, он нам по двадцати пяти розог дал, только бы не заставлял поклоны класть, потому, понимаете, с пьяной-то головой, каково это? Да, молодец, молодец Петр Никитич, — говорил посредник, трепля его по плечу.

Петр Никитич спокойно улыбался.

— Ну, брат, как бы нам теперь постель соорудить?

— А я уж приказал там на дворе приготовить. Спокойнее будет-с.

— Отлично, брат.

— Приказов никаких не будет?

— Нету, брат; какие там приказы? Вот завтра уж поговорим.

Старшина пожелал спокойной ночи и ушел...

— Ты, брат, тоже ложись, — сказал посредник писарю.

— Слушаю, вашескородие, — ответил писарь и повернулся налево кругом марш — спать. Посредник вышел. Рязанов посидел,

посидел и тоже пошел на двор. В сенях кто-то бродил и шарил впотьмах.

— Кто это? — спросил Рязанов.

— Это я, — сказал посредник и запел: «тра-ра-та-та».

Рязанов прошел на двор. Там под навесом была уже приготовлена постель. Он начал было раздеваться и вернулся опять в комнату взять пальто. В сенях он наткнулся на ямщика, которого посредник выпроваживал, говоря:

— Шел бы ты себе, любезнейший, спать к лошадям.

— А вот я зипунишко захвачу. Агафья, посто-кась, где он тут был, зипун-то у меня? — говорил ямщик сонным голосом, отыскивая впотьмах зипун. — Ах, проклят он будь! Вот он! Ты на что у меня зипун унесла? Агафья!

На другой день рано утром Рязанов сидел в комнате и пил чай; в сенях посредник разговаривал с мужиками, приходил в комнату, прихлебывал из стакана чай и опять уходил, и все что-то горячился. Мужики все что-то возражали сначала, но потом стали стихать больше и больше, наконец совсем стихли;

остался только один угрюмый, монотонный голос, бесстрастно и ровно звучащий в ответ посреднику. Этот голос не умолкал. Посредник стал горячиться и кричать, голос не умолкал... Вдруг:

— Ах, ты!

Бац, бац, бац, — раздалось в сенях, и голос умолк. Тихо стало.

Рязанов, не допив стакана, взял фуражку и вышел из комнаты. В сенях стояла толпа мужиков и взбешенный посредник; с полу вставал мужик, дико ворочая глазами; поодаль, так же спокойно и самоуверенно, заложив руки за спину, стоял Петр Никитич.

Рязанов вышел на улицу, завернул в первые ворота и нанял мужика довести до Щетинина.

К вечеру они приехали. Марья Николаевна увидела его в окно, побледнела и выбежала на крыльцо.

— Что случилось? — крикнула она, протягивая руки.

— Да ничего, — спокойно отвечал Рязанов. — Он там драться стал... Ну, я и уехал. Бог с ним!

Щетинин тоже вышел на крыльцо.

— Что такое?

— А то, что вот он... приехал, — задыхаясь, говорила Марья Николавна.

Она не могла скрыть своей радости.

Щетинин холодно поглядел на нее, потом на Рязанова и пошел в комнату.

# XI

Марья Николаевна сидела в зале за роялью и одною рукою брала аккорды; Рязанов ходил по комнате; прямо в окна ударяло заходящее солнце.

— Что, Александр Васильич ничего вам не говорил? — спросила Марья Николаевна, наклоняясь грудью на рояль.

— Ничего. А что?

— Н-нет. Я так только спросила.

Она взяла еще несколько аккордов и остановилась.

— А знаете, — сказала она, — вы это отлично сделали, что уехали от него.

— Что ж тут особенно хорошего?

— Понимаете, теперь весь уезд про это узнает. Скандал. Вот что хорошо.

— Я вовсе об этом и не думал.

Рязанов опять начал ходить. Марья Николаевна, размышляя и улыбаясь в то же время, говорила про себя:

«Это мне очень, очень понравилось, — потом приложила палец к губам, еще подумала немного и сказала так же тихо: — очень... во-

обще все хорошо», потом вдруг ударила по клавишам и громко, с лихорадочною силою заиграла марсельезу.

Эти звуки в одно мгновение преобразили ее: глаза засверкали, она вся вытянулась, подняла голову и, грозно нахмутив брови, смело бросала свои красивые загорелые руки. Сделав последний внезапный переход, она прижала педаль и с новою силою ударила по клавишам. Все лицо ее сияло небывалою отвагою... Она кинула на Рязанова самоуверенный, вызывающий взгляд и остановилась.

Рязанов тоже остановился.

— Привычка-то что значит, — сказал он, подходя к роялю. — Вот вы заиграли марш, мне сейчас же и представилось, что вот тут, рядом со мною, ходит фельдфебель и твердит: левой, правой, левой, правой...

— Что вам за охота вспоминать об этих фельдфебелях? — с неудовольствием ответила Марья Николавна.

— Нет, изредка ничего. Это освежает мысли.

Марья Николавна посмотрела на него и спросила:

— Да вы знаете ли, какой это марш?

— Знаю.

— Так что же вы говорите?

— Я ничего не говорю.

— Однако вы должны же согласиться, — вставая, сказала она, — что и марши бывают разные.

— Еще бы!

— И этот совсем не то, что дармштадтский [54], например?

— Разумеется. Но какой бы он там ни был, а все-таки марш; следовательно, рано или поздно будет «стой — ровняйся» и «смирно» будет; и этого никогда не нужно забывать.

— Я и не забываю.

— То-то же. Стало быть, не из чего и горячиться.

Марья Николавна замолчала; постояв немного перед Рязановым и соображая что-то, она отошла к окну и взглянула на солнце, которое в эту минуту кровавым пятном опустилось над лесом и нижним краем своим уже касалось его зубчатых верхушек; несколько минут она прямо, не сморгнув ни разу, смотрела на солнце, озарявшее все лицо



ее грозным красноватым светом.

— Вы понимаете, что я делаю? — спросила она, не шевелясь.

— Что?

— Я хочу *его* переглядеть, — она указала на солнце. — Знаете, такая игра есть: кто кого переглядит.

Рязанов ничего не отвечал; прислонившись плечом к косяку, он глядел на нее сбоку: она по-прежнему стояла неподвижно, положив обе руки на спинку стула и слегка закинув голову, вся облитая горячим сиянием, и продолжала упрямо, почти с дерзостью смотреть на солнце. Наконец, лицо ее стало напряженнее, брови сдвинулись, она вдруг быстро заморгала, закрыла глаза руками и отвернулась от окна.

— Ну, что? — спросил Рязанов.

— Не переглядела, — ответила она и засмеялась.

Рязанов тоже отошел от окна.

— Какая глупость мне пришла в голову, — продолжала она, не открывая глаз, — когда я смотрела на солнце. Я вспомнила, как меня в детстве пугали господом богом: мне тогда го-

ворили, что и на него тоже нельзя смотреть.

— И вы верили?

— Нет; я и тогда не верила. Мне все это как-то смешно было. У моей няньки иконка была: бог-отец, сидящий на воздухе, только воздух был так гадко нарисован, точно будто Саваоф сидит на яйцах. Нянька меня, бывало, пугает им, а я ничего не боюсь. Как посмотрю на него, так и засмеюсь.

— А теперь-то вы не боитесь его?

— Конечно, не боюсь.

— Да так ли это? Подумайте-ка хорошенько! Может быть, это вы только так храбритесь.

— Какой вздор! Не только *старика*, я и вас даже не боюсь. Я вас только... уважаю...

Последнее слово она произнесла почти шепотом, как будто нечаянно обронила его, и в то же время бросила быстрый, пугливый взгляд на Рязанова.

Он стоял потупившись и щипал свою бороду.

— Пойдемте куда-нибудь, — вдруг сказала она, сделав движение к двери.

— Куда же?

— Да куда-нибудь, все равно, только уйдемте отсюда!

Рязанов пристально посмотрел на нее.

— Что же вам здесь-то не сидится? Кто вам мешает?

— Все мешает: стены, потолок, все. Я хочу теперь идти, идти куда-то дальше, дальше...

Она остановилась.

— А вы знаете, что я вас теперь совсем не вижу, — говорила она, прищурясь. — Вместо лица у вас теперь зеленое пятно. Ах, как это странно! Ну, пойдете же!

Она сбежала с террасы в сад и оглянулась: Рязанов задумчиво и медленно спускался с лестницы, продолжая одной рукой щипать свою бороду.

Она подождала его и, когда он поравнялся с нею, спросила:

— А как вы думаете, Александр Васильич боится *старика* или нет?

— Я думаю, что боится.

В это время тихими шагами, с нахмуренным лицом, в залу вошел Щетинин и, засунув руки в карманы, остановился в дверях, потом вышел на террасу и начал было спускаться с

лестницы, но на последней ступеньке остано-  
вился, поглядел вслед Марье Николавне с Ря-  
зановым, приложил к носу палец, подумал и  
вернулся.

## XII

На дворе все еще жары стоят; жнитво подошло. У Марьи Николавны с Рязановым все разговоры идут, и конца нет этим разговорам.

— Господи, что ж это такое будет! — вслух рассуждает сам с собою Щетинин, прохаживаясь из угла в угол в своем кабинете.

\* \* \*

Полдень. На берегу озера, под тенью, на траве сидит Рязанов и, не двигаясь, смотрит в воду; солнце печет; по ту сторону, из-за кустов, белеет песок, поросший лопушником; у самой воды, пугливо оглядываясь кругом, сидит цапля; где-то кто-то в жилейку дудит. В двух шагах от Рязанова, прислонившись к дереву плечом, с зонтиком в руке, стоит Марья Николавна; по лицу ее и по белому платью медленно, почти незаметно ползут прозрачные тени. Глаза у нее полуоткрыты: ей трудно смотреть на свет; она утомлена зноем и тяжкою полуденною тишиною. Они оба молчат.

— Когда это лето кончится! — говорит она, безнадежно глядя вдаль. — Хоть бы уехать,

что ли, куда-нибудь.

— Не все ли равно: летом везде жарко, — помолчав, говорит Рязанов.

— Я воображаю, каково теперь этим несчастным бабам жать на такой жаре.

— Да-а.

— Ужасно!

— Вы бы им зонтики купили.

Марья Николавна нахмуривается, потом вдруг опускает зонтик и застегивает его на пуговку.

— Не хочу больше зонтика носить. Поле подарю.

Рязанов улыбается.

— Кому же это назло?

— Никому; себе самой.

— Да ведь им-то от этого не легче.

— Кому?

— Бабам-то... Они все-таки без зонтиков останутся.

Марья Николавна молчит и, крепко стиснув зубы, порывисто тычет зонтиком в землю.

— Зачем же вы чужой зонтик ломаете?

— Какой чужой?

— Да ведь это Полин.

— Это... это я не знаю, что такое, — быстро поднимая голову, говорит Марья Николавна и уходит домой.

\* \* \*

Сумерки. Рязанов сидит в своей комнате у окна и, подпершись локтями, смотрит в сад. К окну из сада подходит Марья Николавна.

— Что вы тут сидите?

Рязанов подбирает свои локти.

— Какая скука!

— А вы бы музыкой занялись.

— Какой вздор! Разве музыка поможет.

— Ну, книжку почитайте!

— Все это не то вы говорите.

— Чего же вам нужно?

— Сама не знаю. Мне как-то все это... грустно мне очень.

Рязанов ничего не отвечает.

— Понимаете, — скороговоркой продолжает она, — я знаю, что все это никуда не годится, что нужно что-то такое делать, поскорей, поскорей... Ну, может быть, не удастся... страдание... Что ж такое? Это ничего... По крайней мере знаешь, за что. А то, что это такое? Я хо-

чу жить. Что же вы молчите?

— Что же мне прикажете говорить?

— Скажите что-нибудь!

— Да разве на это можно отвечать сколько-нибудь основательно: вы сами посудите!

— Да вы хоть так, неосновательно отвечайте!

— Что же толку-то будет?

— Все толк, толк...

— Странная вы женщина! Да ведь сами же вы его добиваетесь.

— Ну, да, да. Разумеется. Не слушайте меня: я сама не знаю, что говорю. Прощайте!

\* \* \*

Вечер. На террасе сидит Марья Николаевна и prepares чай. Рязанов на другом конце просматривает только что привезенные газеты. Входит Щетинин, бросает на них небрежный взгляд, стоит несколько минут на середине террасы, зевает и говорит:

— Однако вечера-то прохладные стали. Сыро, я думаю, гулять.

Молчание.

— Не наливай мне чаю: я не хочу, — говорит он жене.



Она молча отодвигает его стакан в сторону.

— А вы хотите? — спрашивает она Рязанова.

— Что-с? — очнувшись, спрашивает он.

— Чаю хотите?

— Хочу.

Он подходит к столу и, всматриваясь в Щетинина, подвигает себе стул.

Щетинин задумчиво стучит по столу пальцами.

— Ну, что в газетах? — спрашивает он, не глядя на Рязанова.

— Да ничего особенного; по части внутренних дел все хорошо: усмирение идет успешно, крестьяне освобождаются, банки учреждаются, земские собрания собираются. Ну, а в европейской политике небольшое замешательство вышло по случаю того, что Наполеон опять имел с Бисмарком дружеское шептание.

Марья Николавна улыбается. Щетинин сидит, опершись на руку щекою, и смотрит на лепешки; потом берет одну из них, разламывает и говорит:

— Как этот Степан стал скверно лепешки печь — просто ни на что не похоже: точно деревянные.

На это никто ничего не отвечает.

— Маша, ты хоть бы сказала ему, что ли.

— Ты бы сам сказал.

Щетинин, не поворачивая головы, а подняв только брови и скосив глаза, долго смотрит на жену; она очень внимательно пьет чай.

— О-охо-хо, — насильно зевает Щетинин. — Когда же это мы в лес-то соберемся, — опять заговаривает он немного погодя. — Собирались, собирались, так и не собрались. Вот и Иван Павлыч с женою тоже хотели с нами.

— Что за лес, — вполголоса замечает Марья Николавна.

— Нет; оно бы хорошо, знаешь, съездить эдак чаю напиться, отдохнуть. А? Как ты думаешь, Рязанов?

— Да, ничего.

— Ну, вот видишь! Вот и он тоже согласен, Маша!

— Что?

— И он с нами поедет!

— Ну, и пусть его едет. Мне-то какое дело?

— Да ведь ты прежде сама это любила.

— Прежде!..

— Нет; я думал... одним словом... черт знает, ужасно как-то здесь... душно, — внезапно сдергивая с себя галстук, говорит Щетинин и встает из-за стола.

— Вот осень придет, — рассуждает он сам с собою, стоя уже на другом конце террасы и глядя в сад, — здесь еще нужно акаций подсадить, а то пусто как-то оно... выходит. Опять эти мужики проклятые, — раздражительно произносит он, заметив подходящих к крыльцу мужиков, — когда они меня оставят в покое? — говорит он, хватаясь за голову, и уходит.

На террасе опять наступает молчание. Рязанов, прочитав письмо, рассматривает конверт.

— Что вы рассматриваете? — спрашивает его Марья Николавна.

— Печать смотрю. Скверный какой нынче сургуч стали делать.

— А что?

— Да не держится.

— Послушайте, сколько стоит дорога отсюда до Петербурга?

— Это смотря по тому, как ехать.

— Ну, самый дешевый способ?

— Рублей пятьдесят.

— Только-то! Это ничего.

— Уж вы не собираетесь ли?

— Н-не знаю. А что?

— Ничего...

Марья Николавна пристально всматривается в него.

— А что бы вы сказали, если бы я поехала?

— Ничего бы не сказал. Я не знаю, зачем бы вы поехали.

— Не знаете?

— Не знаю.

— Гм.

Марья Николавна придает своему лицу небрежное выражение, встает из-за стола и, напевая что-то, подходит к перилам террасы; долго стоит, опершись обеими руками, и, прищурясь, всматривается в картину, широко раскинувшуюся позади сада: на синие озера, подернутые вечерним туманом, на лиловые кучи столпившихся на западе облаков и

бледное, мало-помалу холодеющее небо... В саду наступила тихая, росистая ночь, и на дворе совсем стало тихо; только слышно, как во флигеле Иван Степаныч играет на скрипке «Коль славен наш...».

— Любили вы когда-нибудь прежде? — вдруг оборачиваясь к Рязанову, спрашивает Марья Николавна.

— Нет.

Она долго и недоверчиво смотрит ему в лицо.

— Отчего?..

— Некого было.

Она медленно поворачивается к нему спиной и, нагнувшись лицом к перилам, почти шепотом спрашивает:

— А теперь?..

— Н-н...

— Хоть бы ужинать, что ли? — неожиданно входя в двери, говорит Щетинин.

\* \* \*

Воскресенье. Утром, после обедни, пришел батюшка и принес Марье Николавне просвирку.

Подали завтрак.

— В церковь что редко жалуете? — спросил ее батюшка.

— Не хотите ли водочки? — спросила она батюшку.

Он на это ничего не сказал, только крякнул и, засучив рукав, потянулся к графину.

— Жарко, батюшка, — сказал Щетинин.

— Тепло-с, — отвечал он, намазывая масло.

Щетинин ходил по комнате. Марья Николаевна сидела за столом и рассеянно крошила хлеб.

Выпив рюмку, батюшка откусил кусок хлеба и, поглядев на следы своих зубов, оставшихся на масле, спросил:

— А этот господин... студент... все еще здесь?

— Здесь, — глухо ответил Щетинин и сейчас же спросил батюшку: — Как дела ваши?

— Что дела-с! Дела худы.

— Что такое?

— С коровой своей никак не соображусь: молока не дает, и так надо думать, что лишится она молока совсем. Да и попадья что-то не тово: животом все жалуется.

— Это нехорошо, — заметил Щетинин и

опять пошел ходить из угла в угол.

— Утомился, — сказал батюшка, усаживаясь за стол. — О, боже мой! День-то жаркий, да и сверх того проповедь сказывал.

— Какую проповедь? — с участием спросил Щетинин, очевидно думая о другом.

— Так, небольшое слово сказал. Да и слово-то, признаться, давно уж оно завалялось у меня, старое слово, от тестя, покойника, досталось мне. Ну, все-таки, как бы то ни было. Нельзя. Строгости эти пошли...

— О чем же слово-то? — спросила Марья Николавна.

— О любомудрии-с.

— О чем?

— О любомудрии, сударыня, — отчетливо повторил батюшка.

— Это что же такое? Это значит, если кто любит мудрить, что ли? — улыбаясь, спросила она.

— Н-да-с: мудрить! — тоже улыбаясь, ответил батюшка. — Сами знаете, какое ныне время. Мне вон онамедни в городе кафедральный протопоп сказывал, — преосвященный его призывал, — уж он, говорит, уж он, гово-

рит, мне пел, пел; ежели, говорит, да чуть что услышу, в порошок истолку, сгниешь в дьячках, говорит; так я, говорит протопоп, — вы как думаете? — насилу ушел; дверей-то, говорит, не найду. Не найду дверей и шабаш. Спасибо, служка указал. Так вот оно какое дело. Гордость-то нас до чего доводит, — заключил батюшка, обращаясь к Щетинину.

— Да, — заметил Щетинин.

— Не хотите ли еще? — спросила его Марья Николавна, указывая на графин.

Батюшка посмотрел на него испытующим взглядом.

— Гм. Да как вам сказать? Оно точно что... С горя нешто? Ха, ха, ха!

Батюшка выпил.

— Да; строго, строго насчет этих порядков, — говорил он, нюхая корку. — Фф! строго.

— Без строгости нельзя, — проходя мимо стола, рассеянно сказал Щетинин.

Батюшка обернулся.

— Хорошо вам говорить, Александр Васильич, нельзя. А я вот вам скажу теперь наше дело.

Щетинин остановился.



— Благочинный?

— Да. Вы как об нем полагаете?

— Так что же?

— А то же-с, что в старые годы, например, книги представлять, метрики там эти, — гусь, ну, много, много, ежели я ему поросенка שלוку, полтинник денег. И еще как довольны-то были! А теперь поди сунься-ка я к нему с поросенком-то, — осрамит. «Что ты, скажет, к писарю, что ли, пришел?» Бутылку рому, да фунт чаю, да сверх того три целковых деньгами. Глядишь, они, метрики-то эти, в шесть целковых тебе и влетят, как одна копеечка. Верно. Вот что-с. Новые порядки. А попу теперь ежели еще рюмку выпить, — вдруг заговорил батюшка, переменяя тон, — то это будет в самую препорцию. Чего-с?

— На здоровье, — сказала Марья Николаевна.

Батюшка налил рюмку и, поглядев в нее на свет, спросил:

— Дворянская?

— Дворянская, — ответил Щетинин.

— Пронзительная, шут ее возьми! — заметил батюшка, покачав головой, потом выпил

и с решимостью отодвинул от себя графин.

— Ну ее к богу!

Щетинин все ходил по комнате, по-видимому чем-то сильно озабоченный, и почти не обращал внимания на то, что вокруг него происходит. Он время от времени останавливался, рассеянно смотрел в окно, ерошил себе волосы с затылка, говорил сам себе «да» и опять принимался ходить. Марья Николавна равнодушно следила за ним глазами и вообще имела скучающий вид; батюшка замолчал, начал вздыхать и вдруг собрался уходить. В то же время вошел Рязанов. Марья Николавна оживилась и предложила ему идти провожать батюшку. Рязанов согласился. Марья Николавна взяла зонтик, но сейчас же его бросила и торопливо повязала себе на голову носовой платок. Пошли.

Сходя с лестницы, батюшка покосился на Рязанова, потом на Марью Николавну и, вздохнув, сказал: «Грехи!»

Едва успели они отойти от крыльца, как Марья Николавна, поравнявшись с Рязановым, начала его спрашивать:

— Где же вы вчера целый день пропадали?

Что же я вас не видала?

— Марья Николавна! — крикнул сзади батюшка.

Она оглянулась. Батюшка прищурил один глаз и, подняв палец кверху, сказал:

— Не доверяйтесь ему: обманет!

Она улыбнулась и опять заговорила с Рязановым.

— А я вчера вас все в саду искала.

Они вышли на улицу.

— Поведения худого, — рассуждал батюшка, идя позади них, — так и запишем: весьма худого. Гордость, тщеславие, презорство, самомнение, злопомнение... Нехорошо...

Марья Николавна шла, не обращая внимания.

— Господин Рязанов!

Рязанов оглянулся.

— Квоускве тандем, Катилина... «Доколе же, однако?..» По-латыни знаешь? А? Как небось не знать! Пациенция ностра... утор, абутор, абути — испытывать, искушать[55]. Худо, брат, садись! А вы, барыня, тово... Вы меня извините.

— Что вы тут городите? — сказал Рязанов,

отставая от Марьи Николавны.

— Сшь!

Батюшка взял Рязанова под руку и подморгнул ему на Марью Николавну.

— Не пожелай!..[56] Понятно? Парень ты, я вижу, хороший, а ведешь себя неисправно. А ты будь поскромней! С чужого коня — знаешь — середь грязи долой. Согрешил, ну и кончено дело. Тащите[57]. Сшь. И прииде Самсон в Газу, и нечего тут разговаривать.

— И шли бы вы лучше спать, — сказал Рязанов.

— И пойду. Захмелел... Что ж с меня взять, с пьяного попа? Мы люди неученые.

— Прощайте, батюшка, — сказала Марья Николавна, останавливаясь у церкви.

— Прощайте, сударыня. Вы меня извините, бога ради. А тебе... — батюшка обратился к Рязанову, — тебе не простится. Мне все простится, а тебе нет. Вовек не простится. Нельзя. Никак невозможно простить, потому этого презорства в тебе много. Вот что. Адью!

Батюшка сделал ручкой и запер за собой калитку.

\* \* \*

Расставшись с батюшкой, они долго шли рядом и оба молчали. Тропинка, по которой они шли, вывела их к мельнице. Запертая, по случаю праздника, вода глухо шумела внизу, пробираясь сквозь щели затвора; в пруде полоскались утки. Перебравшись через плотину, они очутились по ту сторону реки, на песчаном берегу, в кустарнике. Высоко стоящее солнце жарко палило широкие заливные луга, усеянные зелеными кочками, и темные, подернутые зеленою плесенью воды; сквозь прозрачно-волнующийся воздух четко виднелся противоположный гористый берег, густо заросший мелким лесом и залитый ярким полуденным светом. Марья Николавна остановилась в кустах и села на траву. Рязанов тоже сел.

— Славно как здесь! — сказала она, усаживаясь в тени.

Рязанов опустил на один локоть и посмотрел вокруг. Марья Николавна подумала и улыбнулась.

— Как это странно, — сказала она, — что меня все это теперь только забавляет. Право. И этот поп. Прелесть как весело!

Она повернулась к воде, ярко блестящей между кустов, и жадно потянула в себя свежего воздуха.

— Хорошо здесь, — повторила она, — прохладно, а там, видите, на горе какой жар? Деревья-то. Видите, как они стоят и не шевелятся. Их совсем сварило зноем. А?

— Вижу.

— И трава вся красная... — прищуриваясь и всматриваясь, говорила она. — Мелкая травка... а там точно лысина на бугре. Вон лошадь в орешнике! Видите, пегая лошадь стоит? И ей, бедной, тоже тяжело... Хорошо бы теперь, — помолчав, продолжала она, — хорошо бы, знаете что? на лодке уехать туда, вверх по реке; заехать подальше, подальше и притаиться там в камышах. Тихо там как!.. А? По-едемте, — вдруг сказала она, решительно вставая.

— Что это вам вздумалось? да и лодка-то рассохлась, течет.

— Так что ж такое?

— Намочитесь.

— Вот еще! Велика важность.

— Как хотите.

— Мы вот что сделаем: заедем туда, за острова, и пустим лодку по течению; пусть она несет нас куда хочет.

— Да ведь дальше плотины не уедем. Опять сюда же нас принесет.

— А впрочем... — сообразив, сказала она, — впрочем, в самом деле уж это я что-то очень... расфантазировалась. Пойдемте! Домой пора. Но мне все-таки весело, — начала она опять, когда они прошли через плотину, — мне сегодня как-то особенно легко. Мне хочется со всеми помириться, простить всем моим врагам. Ведь можно! Как вы думаете? Только на один день заключить временное перемирие? На один день? а? Ведь можно?

— Да вы знаете ли, зачем хорошие полководцы заключают временные перемирия?

— Зачем?

— А затем, чтобы под видом дружбы высмотреть неприятельскую позицию и дать отдохнуть войскам.

— Ну, и я хочу высмотреть позицию: пойдемте по селу, — смеясь, сказала она и, свернув с дороги, пошла мимо амбаров в солдатскую слободу.

— С кем же это вы воюете? — любопытно знать, — спросил Рязанов.

— Сама с собой пока.

— А!

Место, по которому они шли, было глухое, несмотря на то, что находилось вблизи от большого села: какой-то косогор, внизу лужа с навозными берегами, навозный мосток. В луже, подобрав портчонки, бродили ребята; по берегу торчали кривые ощипанные ветлы; сквозь их жидкие листья белели крошечные, сбитые в кучу, кое-как лепившиеся по косо-го-ру мазанки одиноких солдаток, с огородами, в которых тоже кое-где стояли обломанные и загаженные птицами деревья; с разоренных плетней шумно кинулись воробьи. Дальше в одну сторону пошел овраг, заросший чахлым кустарником; в овраге валялась ободранная собаками дохлая лошадь. В другую сторону — крестьянские гумна и село.

Марья Николавна остановилась на площадке и, подняв руку над глазами, посмотрела кругом.

— Как я, однако, давно не была здесь, — сказала она, как будто удивляясь чему-то.



И чем дальше они шли, тем серьезнее становилось ее лицо, тем внимательнее и тревожнее начала она оглядываться по сторонам, как будто она нечаянно зашла в какое-то новое, незнакомое место и не узнает, совсем не узнает, куда это она попала...

Пустынная сельская улица, ярко освещенная солнцем, была мертва и безлюдна: мужики кое-где лениво слонялись у ворот; бабы и девки, притаившись в тени, шарили в голове друг у дружки; маленькие девчонки забрались в новый избяной сруб и, сидя в нем, что есть мочи визжали какую-то песню; на крышах неподвижно торчали ошалевшие от зноя галки.

Марья Николавна сняла с головы платок и пошла по холодку на край дворов. Рязанов шел за нею следом, глядя в землю.

В одном проулке, у плетня, кучей сидели девки и затаили было «ох и уж и что»... но, заметив господ, остановились. Марья Николавна подошла к ним и ласково спросила:

— Что ж вы остановились?

Девки встали.

— Что ж вы не поете?

Девки, ничего не отвечая, глядели по сторонам.

— Мы бы вот послушали, — уже не так твердо прибавила Марья Николавна.

Девки вдруг начали фыркать, зажимать себе носы и прятаться друг за дружку.

Марья Николавна с сожалением поглядела на них, потом взглянула на Рязанова и пошла дальше.

Девки захохотали. Марья Николавна оглянулась: они затихли и вдруг всею кучею бросились бежать от нее на гумно. Марья Николавна слегка нахмурилась и пошла.

Миновав несколько дворов, она остановилась и начала присматриваться к избе. Изба была ветхая, с одним окном, подпертая с двух сторон подпорками; в отворенные ворота глядела старая слепая кобыла с отвисшею нижней губою и выдерганною гривою. Она стояла в самых воротах и, качая головою из стороны в сторону, потряхивала ушами. Тут же перед избою стоял мальчик лет четырех и держал длинную хворостину в руках.

Марья Николавна подошла к мальчику и погладила его по головке: мальчик не трогал-

ся с места и не шевелился.

— Где твоя мать? — спросила его Марья Николавна.

Он ничего не ответил и даже не поглядел на нее, только поднял плечи кверху и стал языком доставать свою щеку, потом бросил хворостину и ушел в избу. Марья Николавна взглянула в ворота: на дворе валялся всякий хлам, на опрокинутой сохе сидела курица.

— Мамка ушла к тетки Матлени, — вдруг крикнул тот же мальчик из окна.

Марья Николавна подошла к окну, но в избе было темно и со свету ничего нельзя было разглядеть; только пахло холодной гарью и слышно было, что где-то там плачет еще ребенок. Марья Николавна начала всматриваться и понемногу разглядела черные стены, зипун на лавке, пустой горшок и зыбку, висящую среди избы; в зыбке сидел ребенок, весь облепленный мухами. Он перестал кричать и с удивлением смотрел на Марью Николавну; мальчик, которого она видела у ворот, дергал зыбку и приговаривал:

— Чу! Мамка скола плидет. Чу!

— Это брат твой, что ли? — спросила Ма-

рья Николавна.

— Это Васька, — ответил мальчик.

Мальчик, сидевший в зыбке, ухватился руками за ее края и покачивался из стороны в сторону, вытаращив испуганные глаза на Марью Николавну, — посмотрел, посмотрел и вдруг закашлялся, заплакал, закричал...

— Он у нас хваляит, — заметил мальчик и опять принялся его качать.

Марья Николавна хотела было еще что-то спросить, но поглядела в окно, подумала и пошла. У ворот по-прежнему стояла слепая кобыла и, потряхивая ушами, беззаботно шлепала своею отвисшею губою.

Рядом с этой избою стояла другая, точно такая же; и дальше все то же: гнилые серые крыши, черные окна с запахом гари и ребячьим писком, кривые ворота и дырявые, покачнувшиеся плетни с висящими на них посконными рубахами. Людей совсем почти не видно было, только среди улицы стоял, выпучив бессмысленные глаза и развесив слюни, Мишка-дурачок и, покачиваясь, тянул: «лэ-лэ-лэ...»

Марья Николавна шла все скорее и скорее,

опустив глаза и стараясь по возможности не взглядывать по сторонам.

— Что вы приуныли? — шутя спросил ее Рязанов.

Она ничего не ответила, только вскинула на него своими черными печальными глазами и опять сейчас же опустила их в землю.

— А как же перемирие-то? Или уж раздумали?

— Раздумала, — тихо сказала она, кивнув головою, и пошла еще скорее.

\* \* \*

В самом конце села, у волостного правления, толпился народ. Марья Николавна остановила какую-то старуху и спросила ее:

— Что это они там делают?

— А господь их знает, родима. Должно, судьбишша у их там идет. Промеж себя что-нибудь.

Марья Николавна пошла было прямо, но потом остановилась и, сообразив, обошла вокруг пожарного сарая, прокралась сзади к плетню и посмотрела. Рязанов подошел и тоже стал смотреть; сквозь щели видно было все, что происходит на дворе: на крыльчке в

рубашке сидел старшина; неподалеку от него, опершись на палочки, стояли старики в за-  
тасканных шляпенках с медными бляхами на  
зипунах; дальше толпился народ. Время от  
времени на крыльце появлялся писарь, спо-  
рил с мужиками, кричал кому-то: «Нет, ты по-  
ди сперва почешись! Почешись поди, знаешь,  
где? а потом уж я с тобой буду разговари-  
вать», — и опять уходил. Мужики что-то кри-  
чали ему вслед и спорили между собою. Сна-  
чала ничего нельзя было разобрать, но потом  
понемногу дело разъяснилось: спор шел о по-  
дателях, спорила и горячилась собственно тол-  
па, должностные же лица в это дело не меша-  
лись; старшина, сидя на приступочке, зевал и  
рассеянно посматривал по сторонам, старики  
разговаривали между собою, ковыряя батож-  
ками землю. Но тут же, у стены, только по-  
одаль от прочих, стояли еще два мужика без  
шапок и в спор не вступались. Один из них,  
высокий, черноватый, с широким угрюмым  
лицом, скрестив на груди руки и подавшись  
немного вперед, внимательно вслушивался в  
говор толпы, тревожно поворачивал голову  
то правым, то левым ухом и в то же время то

поднимал, то опускал, то сдвигал свои густые черные брови; у другого лицо было совсем бабье, дряблое, с жиденькою белокурою бороденкою и маленькими красными глазками. Он преспокойно смотрел вверх и очень внимательно следил за воробьями, как они скачут по крыше пожарного сарая и что мочируют, стараясь отнять друг у дружки какую-то корку. Ему даже это смешно стало...

— Ну, так как же, братцы? — громко спросил один старик, отходя от стены и оглядывая всю толпу. — Колько ни толкуй, а, видно, тово...

Оба мужика встрепенулись — и вытянулись.

— Да нет, ты погоди! Нет, постой, — опять заговорили в толпе.

— Чаво стоять-то? Отбузунил их, да и к стороне.

— Знамо. Рожна ли тут еще! — подтвердил другой.

— Им потачки давать нечего.

— Зачем потачку давать?

— Что на них глядеть? Да пра.

— Гляди — не гляди, а подать за них все

плати.

— Ишь они ловки!

— Мир за них плати, а они этому и рады.

— Что ж, неужели им теперь плакать? Ах, братцы мои, — пошутил кто-то.

Все засмеялись, даже старшина полюбопытствовал:

— Чаво это?

— А мы про то, ваше степенство, что, мол, попужать их маненько. Эдак-то лучше, — скромно доложил один маленький мужичок.

— Это не вредно, — подтвердил старшина и опять зевнул.

— Для страху, чтобы страх знали, — заметил один старик.

— Опосля сами бладарить станут, — прибавил мужичок.

— Обнаковенно.

Вдруг все замолкли: совсем тихо стало, только слышно, как старик какой-то кашляет и кто-то все еще бормочет про себя недовольным голосом: «Ишь ты... на-ка что... так-то...» Чернобровый мужик притаился и, зажмурив глаза, не трогался с места; другой, с полуоткрытым ртом и наклоненной набок головою,



тоже остался недвижим... Но тут старшина встал и, потягиваясь, произнес:

— Что ж, драть так драть: черта ли прокляжаться?

Народ колыхнулся; неплательщики, стоявшие у стены, оба в одно время взглянули на старшину и потупились. Опять начался бесполовый говор, кто-то крикнул: «Погодить бы», — но уже никто никого не слушал, толпа задвигалась; мужики всходили на крыльцо, путались, некоторые пошли вон из ворот. Из правления вышел сотский, неся под мышками два пучка хворосту; перед крыльцом опросталось место.

— Кого вперед? — спросил один десятский, снимая с себя зипун и расстилая по земле. Толпа расступилась, потому что в это время один из неплательщиков (чернобровый) продирался одним плечом вперед, выпучив глаза и с ожесточением потряхивая бородой; маленький выборный мужичок держал его за рукав. В то же время на этого чернобрового мужика наскочили двое и хотели его повалить, но он отчаянно замахал руками и повалился перед стариками на колени, без толку

мотая головой и говоря захлебывающимся голосом:

— Отцы! голубчики! кормильцы! батюшки!

Позади него, слезливо посматривая на стариков и придерживая рукою гашник, стоял другой неплательщик.

— Клади его, — тихо сказал старшина.

Чернобровый мужик заметался, но на него навалилось несколько человек, окружили, толпа осела посередке и глухо завопилась над ним; «батюшки» — в последний раз, но уже тихо, как будто под землю простонал тот же голос; толпа отшатнулась, что-то жикнуло, и вслед за тем раздался дикий, безобразный крик...

Марья Николавна взвизгнула и в ужасе, схватив себя за голову, бросилась от плетня. Она бежала без оглядки, заткнув себе уши, по улице, мимо церкви, сбивая с ног встречных, ничего не видя, добежала домой, бросилась в свою комнату, упала на кровать и зарыдала. К ней вошел Щетинин:

— Что с тобой? Что случилось?

Она махнула рукой:

— Уйди! Все уйдите!..

### XIII

Марья Николаевна целый день не выходила из своей комнаты; Щетинин взъерошивал себе волосы и ломал руки; наконец, велел накрывать на стол и послал звать Рязанова обедать, а сам в волнении ходил по комнате — и не выдержал — пошел к нему во флигель, но встретился с ним на крыльце, взял его под руку и повел в залу. Войдя в комнату, он поглядел на дверь и, путаясь в словах, сказал:

— Послушай! Ты знаешь, между нами там... несходство в убеждениях, но это ничего не значит... Я тебе верю. Слышишь ли?

— Ну, слышу.

— Я знаю, что... ты меня обманывать не станешь... Мое положение... Ты понимаешь, войди в мое положение, как это для меня важно знать причину того, что тут вышло. Я уверен, что ты объяснишь мне все. Ты мне этим докажешь свою... дружбу.

— Это я могу.

— Растолкуй же мне, сделай милость, что это с ней случилось. Какая причина?

— Причина очень простая, — спокойно отвечал Рязанов, — увидела, как мужика дерут.

— И больше ничего?

— Больше ничего.

— Честное слово?

— Чудак! Да ведь сам же ты сказал, что мне веришь.

— Да!..

Щетинин хлопнул себя по лбу.

— Пойдем обедать, — прибавил он, вздохнув. — А я-то сдуру вообразил... Впрочем, и ты, брат, хорош, — говорил он весело, садясь за стол. — Как же это ты позволил ей присутствовать при этой экзекуции?

— То есть как?

— Почему же ты ее не увел оттуда?

— Зачем?

— Да ведь согласишься, что... такая картина хоть кого перевернет.

— Ну так что ж?

— Да ведь ты с ней был?

— Так ты-то что же думал? Ты надеялся, что я с твоею женою поступлю в этом случае так, как поступают осторожные маменьки с своими неопытными дочками, то есть даст ей

книжку и говорит: на вот, душенька, это ты можешь читать, а вот что пальцем закрыто, того тебе нельзя. Так я тебе скажу, друг любезный, что, во-первых, я за это никогда не брался, а во-вторых, такой штуки, брат, пальцем не закроешь.

— Да ну, положим, что, по-твоему, оно, может быть, и так, только все же... да, как ты хочешь, неприлично, наконец.

— А! ну, это уж твое дело. Напрасно же ты ей прежде не внушал, что благородной даме неприлично смотреть на мужиков в то время, когда их порют.

\* \* \*

В продолжение дня Щетинин несколько раз подкрадывался к жениной комнате и прислушивался, но, ничего не расслышав, объявил прислуге, что барыня почивает, и не велел ее беспокоить. Вечером он вздумал было заняться делом, но не мог: порылся в бумагах, постучал на счетах, взял книгу, почитал... Нет, что-то не читается; начал лампу поправлять: вертел, вертел ее, только и сделал, что наचाдил полную комнату, наконец, погасил совсем, зажег свечу, отобрал несколько нуме-

ров газет и, осторожно ступая, отправился в залу. В зале целый день были заперты окна, а потому было душно, как в бане, и пахло как-то странно, краской не краской, а вообще каким-то кадетским корпусом. Щетинин открыл окна, сел у стола и долго просидел так, с газетою на коленях, присматриваясь к своей собственной зале и беспрестанно прислушиваясь к чему-то.

Поздно вечером, часов в одиннадцать, вошел Иван Степаныч.

— Тише, тише, — махая рукой, шепотом сказал ему Щетинин. — Вам что?

— Пожалуйста ружье!

Щетинин удивился.

— Зачем?

— Чего-с?

— Зачем вам ружье?

— Для собаки-с. По селу бешеная собака ходит, так нужно ее застрелить.

— Как же вы теперь ее застрелите: темно.

— Я завтра пораньше. Да еще ведомости одолжите, когда прочтете. Мне там очень желательно продолжение насчет стриженных девок. Читали, как их ловко отделявают? Это

одна мать. Она прямо об себе говорит: я, говорит, мать. Очень чудесная статья. Вы прочитайте!

Щетинин ничего не ответил и, помолчав, спросил:

— Послушайте, кого это там в волостной сегодня наказывали, вы не знаете?

— Не знаю-с.

— Как это глупо, однако, — продолжал Щетинин. — Черт знает что такое! Хоть бы вы им сказали, зачем они это делают? Неужели так уж другого места нет: непременно на улице.

— Это что, — смеясь, ответил Иван Степаныч, — я у исправника жил, у Петра Иваныча, так вот пороли-то мы их, — страсть! Уж можно сказать, что пороли. Бывало, выйдет на крыльцо, трубку закурит...

— Ну, да; знаю, — перебил его Щетинин.

— Чего-с?

— Слышал. Так вы возьмите ружье-то: оно там, у Агафьи в кладовой... Да тише только, пожалуйста: Марья Николавна почивает.

Иван Степаныч с ружьем зашел к Рязанову в комнату и застал его за писаньем.



— Что это вы? Сочиняете?

— Да, сочиняю.

— Ну, сочиняйте! А я какую штуку хочу устроить!

— Какую?

— Сельскую стражу хочу завести из крестьянских ребятишек.

— Зачем же это?

— А собак бить бешеных. Я уж их набрал штук двадцать, этих ребят; всем велел, чтобы палки у них были. Такие палки завел с шишками, форменные. И учу их. Вот потеха-то! Учу. Они у меня называются, знаете, как? — «гмины». Эй ты, гмина. Я кто такой? — Иван Степаныч. — Сейчас за виски, чтобы не смели Иван Степанычем звать, — солтыс. — Кто я такой? — Солтыс. — Ну, так; молодец! Сахару ему. Ха, ха, ха! И комиссия мне только с этими ребятишками, я вам скажу. Прощайте!

\* \* \*

Просидев часу до второго ночи, Щетинин заснул, не раздеваясь, в кабинете на диване; на другое утро проснулся поздно. На дворе было пасмурно, шел мелкий, почти невидимый дождик; в окна пробиралась гнилая хо-

лодная сырость. Щетинин протер глаза, посмотрел вокруг себя и хотел было потянуться, как вдруг увидел на столе запечатанное письмо. Он взял его, повертел, пожал плечами и распечатал. В письме было написано:

«Я уезжаю. Не старайтесь меня уговаривать, потому что это ни к чему не поведет: я уж давно все обдумала, на все решилась и знаю теперь, что мне нужно делать. Я вам теперь скажу, что я *вас не люблю*, да и не только вас, но и вообще все, что здесь делается, все эти люди... я их ненавижу, мне все это гадко. А вас я разлюбила за то, что вы (сознательно или бессознательно — все равно) заставили меня играть глупую роль в вашей глупой комедии. Я давно уж догадывалась об этом, но вчера один случай окончательно показал мне, в каком гнусном деле вы заставили меня принимать невольное участие. Вы, разумеется, этого не понимаете; но тем хуже для вас. После всего этого я не могу здесь жить и не хочу, и кроме того... да, одним словом, не хочу. И больше, пожалуйста, вы со мной не объясняйтесь...»

Пробежав письмо, Щетинин несколько ми-

нут стоял среди комнаты с полуоткрытым ртом, держа себя одною рукою за голову, потом бросился в комнату к Марье Николаевне, — дверь заперта. Он постучал и спросил позволения войти; ему сказали: «Нельзя». Постав у двери, он пошел и написал записку, в которой повторил просьбу позволить ему переговорить об очень важном деле; через несколько минут на той же записке был получен ответ: «После».

Он скомкал записку и, засунув ее вместе с рукою в карман, постоял среди комнаты, подумал и пошел во флигель, к Рязанову: оказалось, что его дома нет. Щетинин вышел на двор и без шапки отправился, глядя в землю, прямо, мимо конюшни, мимо сада, через дорогу, по меже, в поле... Дождик его стал мочить; он все идет, не оглядываясь, не поднимая глаз. Шел, шел и пришел на какой-то пчельник. Тут он остановился, сел на траву, вытащил из кармана руку со сжатою в ней запискою, развернул ее и вдруг припал лицом к земле и заплакал, как дитя, катаясь по траве и оглашая одинокий пчельник своими безумными рыданиями.

## XIV

Серый, ненастный день почти незаметно превращался в сумерки; в воздухе сеялась мелкая изморось. Неподалеку от села, узкой лесной тропинкой, засунув в сапоги панталоны и заложив руки за спину, шел Рязанов. Рядом с ним шел юноша лет семнадцати (дьячков сын) в белом холщовом пальто и босиком: сапоги он нес с удочками вместе на плече, а в другой руке на нитке висели у него караси; впереди бежал, без толку мыкаясь из стороны в сторону, большой легавый щенок с коричневыми ушами и неуклюжими толстыми лапами. Он то и дело забивался в кусты, но сейчас же являлся обратно, по-видимому для того, чтобы показать свою губастую морду, и, поколотив по ногам дьячкова сына длинным, необрубленным хвостом, сейчас же опять исчезал. Тропинка, по которой они шли, вела их разными изворотами почти по самому краю обрыва, густо поросшего орешником и мелким дубом: она то заводила их вглубь перелеска, в непроходимый кустарник, где вдруг обдавало их крупными капля-

ми падавшей с листьев росы и где они должны были, нагнувшись, пробираться сквозь мокрую чащу и ломать по дороге сучья; то выводила их эта тропинка на простор, на самый край крутого обрыва, заросшего в этом месте короткою скользкою травой, изрытого дождевыми потоками, усеянного мелкими каменьями; и тут открывалась перед ними картина подернутых сероватым туманом полей и лугов с посиневшими озерами. Внизу, под обрывом, темными кучами виднелись крестьянские избы.

Дьячков сын шел, не глядя себе под ноги, не засматриваясь по сторонам и только в крайнем случае разводя попадавшиеся навстречу ветви. Он очень скоро и озабоченно что-то объяснял Рязанову, рассуждая при этом рукою, в которой были у него караси.

— Нет, я еще хочу испытать одно средство, — говорил он, подумав.

— Какое же это? Опять убеждение?

— Да ведь что же делать-то, Яков Васильич; больше средств никаких нет.

— Вы вот все лето его убеждаете, да что-то плохо он поддается на это. Что же он вам вче-

ра сказал?

— Все то же. Обыкновенно у него разговор: ты, говорит, несчастный осел, вот женить, говорит, тебя нужно, и больше нечего с тобой разговаривать.

— И вы все-таки надеетесь, что он убедится и пустит вас в университет? Чем же вы его убедите, любопытно знать?

— А я тут в книге нашел одно такое место...

— Да?

— Там очень хорошо развита эта мысль, что родители сами становятся поперек дороги своим детям и лишают их счастья.

— Ну, так что же из этого?

— Там и примеры есть.

— Это все пустяки. Никакие убеждения, никакие примеры для родителей не существуют. Вы придаете книгам значение, а для вашего отца все это — чепуха, которую пишут такие же шелопаи, как и вы; так что ж тут с книгами соваться!

Дьячков сын задумался.

— В таком случае зачем же он давал мне возможность развиваться?

— Никогда не давал. Он вам доставил возможность сделаться попом, Христа славить, требы исправлять. Он, как отец, желал вам счастья, которое, по его мнению, для вас доступно.

— Какой он мне отец, он враг мой, больше ничего, — сказал юноша, с ожесточением ломая ветку, загородившую ему дорогу.

— А коли враг, так вы с ним так и поступайте. К чему ж тут убеждения? Тут просто нужна интрига, военная хитрость, коли на то пошло. Чего ж вы смотрите?

— Я тут один ничего не могу сделать, Яков Васильич. Вот если бы...

— Что?

— Если бы вы мне помогли убедить его, совсем бы другая музыка пошла. А что же я один?..

Рязанов молчал и чесал в затылке; дьячков сын смотрел ему в лицо и ждал.

— Гм! Хорошо. Пойдемте, — сказал Рязанов.

Дьячков сын весело свистнул: щенок в ту же минуту выскочил из-за куста, и они все трое стали спускаться с обрыва.

Через час Рязанов вернулся домой, усталый и по колени в грязи. Проходя по двору, завернул в кухню и попросил себе самовар.

Когда он пришел во флигель, совсем уже почти смерклоось: в комнате было темно и пахло сыростью; в саду шумели деревья; падавшие с них капли дождя глухо ударяли в окно. Рязанов зажег свечу и, не снимая фуражки, остановился среди комнаты, задумчиво осматривая стены, деревенской работы кровать и стол, с разбросанными на нем книгами и листами писаной бумаги. На перегородке, оклеенной старыми газетами, неподвижно стояла его собственная тень, с перегнувшейся на потолке головою; за перегородкою, спросонья судорожно вздрагивая и шурша крыльями, возился чиж в новой клетке.

Постояв несколько минут, Рязанов снял с себя мокрое платье, надел теплое пальто и, пожимаясь, сел за стол. Бумага, лежавшая перед ним на столе, была исписана мелким неразборчивым почерком и закапана чернилами. Он развернул новую книжку журнала, порывшись в бумагах, отыскивал какую-то чер-



новую тетрадь и долго сличал ее с книжкою, пощипывая бороду одной рукой, а другою водя по строкам, потом захлопнул книжку, вместе с тетрадью швырнул ее на окно и задумался. Вошел лакей и принес на подносе чайный прибор; только что Рязанов принялся наливать, как за перегородкою послышался шорох женского платья.

— Можно войти? — спросила за дверью Марья Николавна. — Что это вы, нездоровы? — с озабоченным видом говорила она, скоро входя в комнату.

— Нет, ничего, озяб только. Сыро. Был в лесу, ну, и промок.

— Как же вам не стыдно, что вы себя не бережете! — говорила она, качая головою. — Хотите малины? Пойдите, я вам налью. Давайте сюда, вы не умеете. А не лучше ли велеть здесь затопить? а? Я сейчас скажу.

— Да вы не хлопчите! Я вот напьюсь горячего, и все пройдет.

— Ну, да. Как же! Так сейчас и прошло. Разве можно этим шутить?

— А вы, кажется, и серьезно меня больным считаете. И зачем вы сюда пришли?

Марья Николавна оглянулась.

— Вы что же этим хотите сказать? Я вам мешаю?

— Нет, я сказал потому, что вот вы ходите по сырости, ноги промочите.

— А вам какое дело до моих ног? Вот это мило. Может быть, я нарочно хочу их промочить, может быть, я умереть хочу.

— Да! ну...

— Что ну-то?

Рязанов улыбнулся.

— Смешная вы женщина, — сказал он, застегивая пальто на все пуговицы, и сел к столу.

Марья Николавна тоже села, налила ему стакан малины и поставила перед ним графин с ромом.

— Если я и умру, так обо мне плакать будет некому, — сказала она, складывая на коленях руки.

Рязанов взглянул на нее исподлобья и ничего не ответил, потом взял графин и, наливая себе рому, сказал:

— А Александр Васильич-то?

Марья Николавна махнула рукой.

— Это мне все равно.

Рязанов положил сахару в стакан, помешал и спросил:

— А другие не все равно?

— Разумеется.

— Стало быть, вы не то хотите сказать. Плакать-то будут, только не те, кому следует; вы и боитесь, что, в случае вашей смерти, на этот счет может выйти беспорядок. Так, что ли?

— Ну, да. Однако какой глупый я разговор завела: об смертях там об разных... Бог знает что!

— Чем же глупый? Нет, ничего; разговор подходящий: сумерки, погода скверная; самое время о смертях рассуждать.

Она молча покачала головой; Рязанов подождал, что она скажет, и хлебнул из стакана. В это время где-то за садом грянул ружейный выстрел. Марья Николаевна вздрогнула.

— Что это такое? — тревожно спросила она.

— А это, должно быть, Иван Степаныч забавляется.

Она подумала и, пугливо посмотрев во-

круг, сказала:

— Нет, не хочу я умирать, не хочу.

— Да вас, кажется, никто и не принуждает.

— Давайте вот что... давайте лучше говорить о чем-нибудь другом, о хорошем. Я ведь, знаете, зачем к вам пришла?

— Ну-с!

— Я хочу поговорить с вами об одном очень важном для меня деле.

— Так что же?

— Прежде всего я хочу поговорить собственно о вас.

— Обо мне? Ну, это предмет еще не слишком интересный.

— Для меня, напротив, очень, тем более что с ним связаны и другие еще там разные.

— Да-с. Так что же вам угодно от меня?

— Во-первых, мне угодно, чтобы вы со мной не разговаривали таким образом.

— Каким?

— А вот этим тоном. Я очень люблю, когда вы с другими так говорите, только не со мной.

— Да ведь тон... как вам сказать? это такая вещь, которая зависит не от одного желания.

— От чего же?

— Да больше, я полагаю, от окружающей нас жизни.

— Вы хотите сказать, что в этой жизни диссонансы?

— Нет, я хочу сказать, что тон задается жизнью, а мы только подпеваем. Пожалуй, можно и повыше его поднять, да что толку? Жизнь сейчас осадит.

— Так вы находите, — подумав, сказала Марья Николавна, — что в этой жизни (она показала рукою вокруг себя) нет ничего такого, что бы заставило вас говорить хотя немножко не так, как вы привыкли. Хорошо. Положим, что это так. Ну, а прежде? Неужели в вашей жизни не было таких случаев, каких-нибудь там происшествий, так чтобы вы рассердились или пришли в восторг? а? Были?

— Конечно, были, да что из этого?

— Ну, а теперь? Вот здесь? Ну, что вы думаете теперь, в настоящую минуту? О своем положении, например, что вы думаете? Скажите!

— О моем положении-то? Да что ж о нем

думать? Вообще живу я теперь на летнем положении, в деревне, время провожу приятно; простудился было немного, но теперь напился малины и начал потеть; ну, вот еще думаю, что сидит передо мною женщина, хорошая женщина, и пересыпаем мы с нею из пустого в порожнее. Вот и все.

— Нет; вы не так меня поняли.

— Очень может быть.

— Я хочу знать, как вы смотрите на все, что окружает вас здесь, в деревне, на все, что здесь происходит. Неужели с тех пор, как вы приехали сюда, не случилось ничего такого, что бы могло вас поразить, удивить, обрадовать или огорчить?

— Не помню, право. Должно быть, не было. Да я не знаю, что это вам кажется странным. Если бы вы захотели подумать, вы убедились бы и сами, что нет тут ничего такого особенного. Жизнь как жизнь: все совершается в строгой зависимости и надлежащем порядке, случайностей никаких нет и быть не может. Чему же радоваться, о чем сокрушаться? В риторике Кошанского есть такой пример (и бог его знает только, как он туда попал): «Вот, го-

ворит, медведь душит волка, волк режет овцу, овца ест траву, трава из земли сок получает; а лев, говорит, и медведя, и волка, и овцу, и всех побеждает». Вот это порядок. Теперь какие же тут могут быть случайности? Разве что резал волк овцу да не дорезал, потому что его самого в то время медведь задушил, или что лев мимо медведя прошел и не тронул его, потому что был сыт. Такие случайности бывают, — это точно; но удивляться этому я, право, надобности никакой не вижу.

— Это я все понимаю, но почему же, когда вы говорите об разных там делах, — у вас выходит так, как будто вы находите, что все это так и должно быть. Я, конечно, этому не верю.

— Напрасно.

— Как напрасно? Да ведь вы это говорите нарочно, для них.

— Напротив, я и для них, и для вас, и для всех говорю именно то, что думаю.

— Стало быть, вы находите, что все эти гадости так и должны быть.

— Какие гадости?

— Да вот, что... ну, я не знаю... Одним словом, все это хозяйство: ну, вот, что надо му-

жиков наказывать, давать им за работу как можно меньше и прочее.

— Я никогда не говорил, что так надо и что иначе и быть не может.

— Но ведь вы находите, что все это очень естественно и натурально.

— А вы не находите? Это потому только, что вы не хотите подумать. Если, положим, человека посадят в угарную комнату и он там угорит, — так это, по-вашему, будет неестественно? Если ему не дадут есть двое суток и у него живот подведет, — так это, по-вашему, будет не натурально?

— Ну, конечно, так; только согласитесь, что уж это вовсе не естественное желание морить другого голодом?

— Я с этим никак не могу согласиться, потому что если на двоих отпущена только одна порция хлеба и из этих двоих один сильнее другого, то со стороны сильнейшего будет самым естественным делом — отнять этот хлеб у слабейшего. Что же может быть натуральнее этого побуждения? И это, однако, несколько не мешает человеку в другом случае самого себя лишать пищи в пользу другого, то



есть следовать совершенно противоположному побуждению, которое в свою очередь тоже очень естественно и натурально. Все зависит от условий, в которые человек поставлен: при одних условиях он будет душить и грабить ближнего, а при других — он снимет и отдаст с себя последнюю рубашку. Видимые результаты всегда естественны и натуральны, когда причина их известна; да сила-то не в них.

— А в чем же?

— В том, что мы не видим и не знаем; икс такой есть — неизвестный; так вот в нем-то вся и штука, а это все... все это гроша медного не стоит.

Рязанов замолчал и выпил залпом стакан остывшей малины.

— Вот вы говорите, — начал он опять, — вы говорите, почему вот я не ужасаюсь, не радуюсь, не удивляюсь тому, что вижу здесь. Хорошо. Но что же я здесь вижу? Какие могут быть здесь такие удивления достойные картины? Ну, вот прежде всего я вижу прилежного земледельца, вижу я, что этот земледелец ковыряет землю и в поте лица добывает хлеб; затем примечаю я, что в некотором отдале-

нии стоят коротко мне знакомые люди и терпеливо выжидают, пока этот прилежный земледелец в должной мере насладится трудом и извлечет из земли плод; а тогда уже подходят к нему и, самым учтивым манером отобразив от него все, что следует по правилам на пользу просвещения, оставляют на его долю именно столько, сколько нужно человеку для того, чтобы сохранить на себе зрак раба и не умереть с голоду. Это картина номер первый. Чему я тут могу удивляться? Я вас спрашиваю. Прилежанию земледельца? Но ведь он потому, собственно, и называется прилежным; это качество ему присвоено издревле; он так и по-латыни даже называется: *sedullus rusticus* — прилежный земледелец; стало быть, тут и разговаривать нечего. Теперь уже поздно: рад и не рад, а будь прилежен, потому что реноме такое заслужил. И удивляться нечему. Еще чему же? Великодушию моих знакомых? Но если бы они не были великодушны и сразу отняли бы у него все, ведь они лишили бы его возможности впредь наслаждаться трудом, они уморили бы его с голоду; тогда кто же бы стал трудиться на пользу про-

свещения? Стало быть, надо было свеликодушничать; стало быть, и тут удивительного мало. Необходимость! Вот и все. И вы, надеюсь, тоже не удивляетесь? Нет? Прекрасно. Что же еще я вижу здесь? Вижу я других моих знакомых, вижу их сидящих на реках вавилонских, сидящих и плачущих, выкупными свидетельствами горьки слезы утирающих. Это картина номер второй. Но причина их скорби, вероятно, и вам известна: опять нужда, опять-таки необходимость; стало быть, и тут... да нет, знаете ли, — оживляясь, заговорил Рязанов, — знаете ли, что вся эта механика до такой степени проста, что ведь серьезно нужно удивляться тому, что есть еще на свете люди, которые над такими пустяками ломают голову, не понимают, удивляются. Ведь после этого что же? После этого надо удивляться и тому, что я вот напился потогонного, да вдруг и вспотел. Как это странно в самом деле?

— Все это так. Положим. Но ведь согласитесь, что нельзя же на все это смотреть хладнокровно, нельзя не скорбеть, что все это так.

— Да что толку в этой скорби? Я знаю мно-

гих, которые скорбят о том, что вот, дескать, народ, такой великий, доблестный народ, что столько сил, надежд и прочего, и все это, можно сказать, ни за нюх табаку пропадает. Отлично. Это все равно что я вот пойду в лес, стану перед дубом и буду рассуждать: «Ах, боже мой! Такой прекрасный дуб и весь загажен птицами, черви-то его, беднягу, точат, и свиньи тут же кстати пользуются провиантом; а кабы этот самый дуб да в хорошие руки, что бы тут можно добра наделать? Одних полозьев сколько бы тут вышло, не говоря уж об ушатах, бочках, ведрах и прочей разной домашней утвари. Да и паркет, пожалуй, вышел бы отличный». А? Как вы находите, прискорбно это или нет?

— Ну, да. Я понимаю. Это значит, что здесь нечего делать.

— Нет, это значит только, что есть такая точка зрения, с которой самое любопытное дело кажется таким простым и ясным, что на него скучно смотреть. Вы желали знать мой взгляд на вещи, так вот он самый к вашим услугам. Но обыкновенно люди этого не любят и, как нарочно, выбирают такие дела, в

которых черт ногу переломит, потому что, хотя толку от этого бывает мало, зато на каждом шагу можно удивляться, радоваться и ужасаться. Ну, время-то и проходит, и кажется, что как будто в самом деле живешь.

Марья Николавна задумалась.

— Да; это правда, — наконец, сказала она, — лучше жить хоть как-нибудь, хоть глупо, да жить, чем так...

— Однако вот эта жизнь уж перестала вам нравиться. А почему? Вы поняли ее нелепость и уж не можете жить этой жизнью. Стало быть, чем больше вы будете узнавать жизнь вообще, тем больше и больше будете лишаться возможности жить, как люди живут.

— Но что же тогда? — почти с ужасом спросила Марья Николавна. — Что же остается делать человеку, который потерял возможность жить так, как все живут?

— Остается... — Рязанов посмотрел кругом, — остается выдумать, создать новую жизнь, а до тех пор...

Он махнул рукой.

— Нет, погодите! Скажите мне: есть же у вас какая-нибудь жизнь, которой вы живете?

— Конечно, есть.

— Ну, вот мне бы хотелось только узнать ее, какая она.

— Напрасно. Не стоит.

— Но почему же?

— А потому, что это и не жизнь, а так, черт знает что, дребедень такая же, как и все прочие.

Она остановилась.

— Нет; не может быть.

Рязанов пожал плечами.

— Я вам не верю. Вы не хотите только мне сказать.

— Поймите же, что нечего сказать.

— Неужели я этого не стою? Послушайте, — вдруг заговорила она и протянула ему руку. — Хотите вы быть моим другом? а? Хотите?

Он молча, не глядя ей в лицо, пожал ее руку, потом осторожно освободил свою и положил ее на стол.

Марья Николаевна, покачнувшись к нему, ждала, что он скажет.

— Да, — наконец, выговорил он, — это, конечно, очень приятно, только...

— Что?

— Только я, право, не понимаю, какая же между нами может быть дружба, — кончил он вполголоса, как будто сам с собой рассуждая. — Ничего из этого не выйдет.

— А если вы не понимаете, — скороговоркой прибавила она, — так я вам скажу, что я уезжаю отсюда.

— То есть как? Совсем?

— Да, совсем. Между мной и моим мужем все кончено. Я свободна.

— Вот как, — глядя в пол, тихо произнес Рязанов.

— Теперь бы я желала только одного, — все больше и больше одушевляясь, говорила Марья Николавна, — я бы желала устроить так мою жизнь, чтобы я могла все силы, все способности мои употребить на то, чтобы хоть в чем-нибудь вам быть полезной. Я много не желаю, мне хотелось бы только чуть-чуть помогать вам в ваших занятиях. Что вы мне скажете, то я и буду делать. Сначала, конечно, мне будет нужна ваша помощь, потому что ведь я ничего не умею, а потом я привыкну понемногу. Таким образом мы и будем

помогать друг другу...

— В чем?

— Как в чем?!

— Подумали ли вы, в чем же это мы с вами будем помогать друг другу? И какое это такое занятие вы нашли, я не понимаю хорошенько... Учиться, что ли, мы будем друг у друга или так просто жить?.. Да нет; постойте! Прежде всего вот что: вы-то, собственно, зачем вы едете?

— Вы все-таки не знаете?

— Все-таки не знаю.

— Хорошо. Я вам скажу. Я еду для того, чтобы начать новую, совсем новую жизнь: мне эта опротивела; эти люди мне гадки, да и вся эта деревенская жизнь. Я могла жить здесь до тех пор, пока я еще ждала чего-то, одним словом, пока я верила; теперь я вижу, что больше ждать мне нечего, что здесь можно только наживать деньги, да и то чужими руками. К помещикам и ко всем этим хозяевам я чувствую ненависть, я их презираю, мужиков мне, конечно, жаль, но что же я могу сделать? Помочь им я не в силах, а смотреть на них и надрываться я тоже не могу. Это невыносимо.



Ну, скажите же теперь, ведь это правда? Ведь незачем мне больше здесь оставаться? Да?

— Да, разумеется; если уж это вам так противно.

— Вы это так говорите... Мне кажется, вы не желаете, чтобы я ехала?

— Напрасно вам это кажется. Напротив, я желаю, чтобы вы делали именно то, что вам хочется; но, кроме того, я еще желаю получить ответ на вопрос, который я вам сделал: зачем вам хочется *туда*?

Он показал в окно.

— Что вас влечет *dahin, dahin*?[58]. Уж не думаете ли вы серьезно, что там растут лимоны?

— А знаете ли, в самом деле, как я представляю себе, что такое *там*? Я всегда воображала себе, что там где-то живут такие отличные люди, такие умные и добрые, которые все знают, все расскажут, научат, как и что надо делать, помогут, приютят всякого, кто к ним придет... одним словом, хорошие, хорошие люди...

— Да, — в раздумье говорил Рязанов, — хорошие, хорошие люди... Да, были люди. Это

правда.

— А теперь?

— И теперь, пожалуй, еще с пяток наберется.

— Как? Отчего же так мало? Где же они?

— Гм! Странно как вы спрашиваете! Да разве они не люди? Разве они тоже не подвержены разным человеческим слабостям? Одни умирают, а другие не умирают...

— Так что же?

— Так просто погибают...

— Погибают?

— Да так вот, пропадет — и кончено. Вон как в балетах: все танцует, все танцует, найдется на такое место — вдруг хлоп! пропал.

Марья Николавна вздохнула и задумалась.

— Да, подобрались покрупнее-то которые, подобрались, — рассуждал между тем Рязанов, — осталась одна мелкота. Впрочем, вы на нее не смотрите, что она мелкота. Это нужды нет. Она, мелкота-то эта, все дела справит и все эти артели заведет... на законном основании; они вас там приютят и все порядки вам расскажут, как и что... да, впрочем, сами увидите.

— А вы? — с удивлением спросила Марья Николавна.

— Н-нет, я уж так как-нибудь обойдусь, собственными средствами.

— Да почему же? Разве вы не верите в успех этого дела?

— Как не верить? Нельзя не верить. Успех-то будет несомненно, только мы-то вот, кажется, немножко того... немножко опоздали для этого успеха.

Рязанов медленно обвел глазами комнату и, откинувшись на спинку стула, провел рукой по волосам; Марья Николавна напряженно следила за каждым его словом и, не сморгнув, пристально смотрела ему в лицо.

— Да, — снова заговорил он, — жизнь штука любопытная, я вам скажу. Так вот всю видишь, кажется, ее насквозь и человека знаешь вдоль и поперек — чего бы, кажется, еще? Так нет; все мало. Еще чего-то нужно. Страсть нужна. Тут нужно просто прийти и взять... однако я вот говорю, говорю, а сам все эту малину прихлебываю, да и забыл совсем, что она с ромом, черт ее возьми! Пьян напился.

Он отодвинул от себя стакан.

— То-то я замечаю, как-то уж очень я тово... фигурно стал выражаться, — прибавил он, выпрямляясь на стуле.

И действительно, на лице у него выступали багровые пятна, а глаза беспокойно и подозрительно переходили с одного предмета на другой. Он встал и сделал несколько шагов по комнате, видимо стараясь ступать как можно тверже.

— А я было хотела спросить вас еще об одной вещи, — нерешительно сказала Марья Николавна.

— О какой вещи?

Рязанов обернулся и, засунув руки в карманы, остановился перед Марьей Николавной.

— Что ж, спрашивайте! Да только я-то вот закутил по случаю сырой погоды.

— Это ничего.

— Впрочем, вы ведь, кажется, желали даже видеть меня в ненормальном состоянии? — Так вот вам отличный случай.

Марья Николавна подняла голову и посмотрела ему в лицо.

— Что вы смотрите? Вы думаете, я буду откровеннее? Нет, на меня вино производит совершенно обратное действие: я становлюсь еще недоверчивее, грубее. Да я, кажется, и в трезвом-то виде не слишком деликатно обращался с вами? А? Марья Николавна, так ведь? Грубо я с вами поступал? Вы на это не сердитесь! Это все пустяки...

Он покачнулся.

— Сядьте, — тихо сказала она, взяв его за руку.

— Ну-с, так какая же это вещь, о которой вы хотели спрашивать, — говорил он, садясь опять на прежнее место.

— Вы мне все-таки не сказали... Вы мне ничего положительно не сказали о том... — Она замаялась и, все ниже и ниже нагибаясь к столу, с расстановкой, почти шепотом, прибавила: — неужели вы не знаете до сих пор...

— Я знаю только одно, — перебил ее Рязанов, — и самым положительным образом знаю, что я завтрашний день отсюда уеду.

— Куда? — быстро поднимая голову, спросила Марья Николавна.

— Да это смотря по тому, как... вообще в

разные места.

Марья Николавна не спускала с него глаз и все еще ждала чего-то.

— Больше к югу, — прибавил Рязанов.

Она не шевелилась, даже не вздрогнула и продолжала по-прежнему смотреть на него, хотя по глазам ее видно было, что она уже не ждет ничего и мысли ее полетели дальше.

— Время подходит ненастное, — продолжал Рязанов, глядя в окно, — дождь идет. Видите, погода-то какая сволочь!

Марья Николавна все смотрела на него и, должно быть, не слушала; взгляд ее перешел с Рязанова на стену и остановился; на лице у ней ничего не выражалось: оно было совсем неподвижно и только вдруг как-то осунулось, точно после трудной болезни. Рязанов замолчал и начал пристально всматриваться в нее: слегка нахмутив брови, он водил глазами по всему ее лицу, по вытянутым и неподвижно лежавшим на столе рукам ее, а сам в то же время основательно и не торопясь мял свои собственные руки, так что пальцы на них хрустели; потом хотел было вздохнуть, набрал воздуха, но сейчас же закусил губу и по-

давил этот вздох, потом встал и задел за столовую ножку.

— А? — вдруг очнувшись, пугливо спросила Марья Николавна.

Рязанов молча доставал с окна какую-то книгу.

Она провела по лицу рукой, посмотрела вокруг и, наступив себе на платье, ничего не замечая, сделала было несколько шагов к двери, но тут она остановилась и обернулась. Рязанов стоял, потупившись, у окна, с книгою в руке. Марья Николавна взглянула на него и ровным, холодным тоном сказала:

— Прощайте!

— Куда вы? — тихо спросил он.

— Я еду... то есть теперь я иду домой, а потом поеду...

— Туда?

— Да, туда, — твердо сказала она и пошла к двери.

— Желаю вам успеха, — не трогаясь с места, проговорил он уже в то время, когда она уходила из комнаты, и почти в то же мгновение изо всей силы швырнул книгу под стол и, схватив себя обеими руками за волосы, бро-

сился вперед... но тут же остановился, опустил руки, покачал головой, улыбнулся и стал ходить по комнате.



## XV

Ночью шел дождь, и к утру погода совсем расклеилась: небо все сплошь заволокло тучами, пошла слякоть.

Щетинин сидел в кабинете на диване, поджав под себя ноги, и задумчиво смотрел в окно. В последнее время он очень изменился и похудел; да и в самом костюме его стало заметно неряшество: он был без галстука, в старом затасканном пиджаке и в туфлях. Тут же на диване около него валялась книга; за письменным столом сидел Иван Степаныч и дописывал какую-то бумагу; из передней слышался мужичий кашель и отрывистое чавканье грязных сапог. Щетинин взял было книгу, поддержал ее в руках, посмотрел, даже помуслил палец для того, чтобы перевернуть страницу, но тут же опять задумался и загляделся в окно; хотя собственно говоря там решительно не на что было смотреть; по двору с ноги на ногу пробирались по кирпичикам какие-то мокрые люди; по крышам, нахохлившись, сидели воробьи и уныло встряхивали мокрыми крыльями.

— Дописал-с, — резко произнес Иван Степаныч, кладя перо на стол. — Извольте подписать!

Щетинин нехотя встал с дивана, лениво взял перо, подписал с одного маху: «Земле-владелец коллежский секретарь, Александр Васильев сын Щетинин» — и опять сел на диван.

— А я шкуру-то эту отдал выделывать, — заговорил Иван Степаныч, засыпая песком бумагу.

— Ага, — равнодушно произнес Щетинин.

— Шапку хочу сделать, собачью. Скунсовая аккуратно будет. Что застрелил-то я.

— Мгм.

— Нет, я вас хочу спросить, — вставая, говорил Иван Степаныч. — Александр Васильич.

— Что?

— Вы науки знаете?

— Знаю.

— Я хочу вас спросить, что правда это или нет?

— Да что?

— Ведь она бешеная была.

— Кто?

— Да шапка-то. Ведь она от бешеной собаки.

— Ну, так что ж?

— Я слышал, что ежели, говорят, ее близко к воде поднести, так она вся вот эдак, шапка-то, дыбом встанет шерсть-то на ней. Вы об этом в книжках не читали?

— Нет, не читал.

Иван Степаныч задумался.

— А может, и врут. Да мне черт их возьми совсем, я все-таки сошью, — решил он, махнув бумагой. — А то еще, пожалуй, воротник выйдет к шинели. А? Собачица страшная. Вы как думаете, выйдет? Вот эдакая вот!

Он показал руками.

— Да, выйдет. Я знаю, что выйдет, — говорил Иван Степаныч, стоя перед Щетининым, — вот одно только нехорошо, — заметил он, покачав головой.

— Что нехорошо? — очнувшись, спросил Щетинин.

— Да, говорят — в церковь нельзя в этой шинели ходить.

— Почему же?

— Да ведь он собачий, воротник-то.

— Ну, это ничего, — заметил Щетинин, — а вы вот что: вы отдайте бумагу-то мужикам да перетолкуйте там с ними о делах.

— Эх, уж эти мне толки, — с неудовольствием сказал Иван Степаныч и отправился в переднюю. Через минуту оттуда уже слышалась брань.

Щетинин опять задумался. В это время вошел Рязанов. На лице его заметно было желание казаться как можно равнодушнее, а потому оно выходило уж как-то слишком беззаботно. Щетинин, заметив его издали, поморщился было немного, но, взглянув ему в лицо, спросил:

— Что ты, я слышал, нездоров?

— Нет. Я пришел проститься, — отвечал Рязанов, садясь с ним рядом на диван, — я еду.

— Как? Уже?

Щетинин привстал.

— Вместе?..

— Я еду один, — отчетливо сказал Рязанов.

Щетинин снова опустился на диван.

— Когда же? — спросил он, переводя дух.

— Когда лошадей приведут. Я уж послал.  
Щетинин молча щипал подушку.

— Что ж тебе за охота в такую погоду? — с притворным участием спросил он, наконец.

— Да заодно уж мочиться-то: не сегодня, так завтра, не все ли равно?

— Возьми тарантас хоть по крайней мере до города доехать.

— Вот еще! О пустяках толковать.

Рязанов махнул рукой.

— Ну, как знаешь. Куда ж ты, — в Питер?

— Нет, так, куда придется. Да не в этом дело. Я ведь вот зачем собственно пришел...

Щетинин еще раз вздохнул и, поджав под себя ноги, обернулся к Рязанову, стараясь, впрочем, не глядеть ему в лицо.

— В последнее время, — начал Рязанов, — у нас с тобой там какие-то недоразумения вышли. Мне-то это все равно, но ты, кажется, имеешь повод быть мною недовольным, так я вот объясниться хотел на прощанье.

Щетинин пожал плечами.

— Я, право, не знаю, какое же у нас с тобою может быть объяснение. Впрочем, конечно... я одно только могу сказать, что я этого не

ожидал от тебя.

— А я думаю, напротив, что этого всегда надо было ожидать.

Щетинин вспыхнул.

— Чего же ты хочешь от меня, наконец? — закричал он, вскакивая с дивана. — Ты меня лишаешь всего: ты отнял у меня энергию, спокойствие, мало того, ты разрушил мое семейное счастье... Ведь как бы то ни было, вот ты находишь, что глупо там, но ведь как бы то ни было, да жил же я до сих пор, делал дело, ну, глупое дело, по-твоему, да я по крайней мере знал, что я тружусь, что я недаром небо копчу... а ты тут с этими своими разговорами... и еще вдобавок я же виноват во всем. Вот это мило!

Щетинин бегал по комнате и сильно размахивал руками.

— Да кто тебя винит? Успокойся, сделай милость, — сказал Рязанов, тоже вскакивая с дивана. — Разве тут может быть кто-нибудь виноват?

— Так что же это, по-твоему, судьба, стало быть, такая?

— Судьба не судьба, а во всяком случае

вещь неизбежная. Рано или поздно, а это должно было случиться.

— Не будь этих разговоров, ничего бы и не было.

— Что ж разговоры? Ты думаешь — это и бог знает что — разговоры?

— Еще бы! Если целый день, целый день, с утра до ночи в уши дудят: то не так, другое не так... женщина молодая, неопытная, понятно, что должна была увлечься.

— Однако ты вот не увлекся же.

— Я! Я совсем другое дело.

— В том-то и штука. Тут сила, брат, не во мне. Не со мной, так с другим, не с другим, так с бабой с какой-нибудь поговорила бы по душе, все то же бы вышло. Не теперь, так через год, а уехала бы все равно. Вот разве совсем запретить разговаривать, да, впрочем, и то надо принять в расчет, что книжки такие есть. И без разговору всю эту штуку поймет. Ничего не поделаешь.

Щетинин задумался.

— И напрасно это ты только стараешься найти виноватого, — прибавил Рязанов, — я уж об этом думал: тут, брат, как ни кинь, все

КЛИН.

— Да за что же, наконец, за что? — снова оживляясь, заговорил Щетинин. — Что я такое сделал против нее? Ведь нужно же все-таки хоть какое-нибудь основание. Не тряпка же я, в самом деле, чтобы мною помыкать: то люблю, то не люблю.

— Основание тут, брат, жизнь. Жить хочет женщина; а мы с тобой так только, в качестве благородных свидетелей, участвуем в этом деле. И роли-то наши самые пустые: ты ей нужен был для того, чтобы освободиться от матери, я ее от тебя освободил, а от меня уж она сама освободилась; теперь ей никто не нужен — сама себе госпожа.

Щетинин стоял у окна и водил пальцем по стеклу.

— Стало быть, ты с нею не едешь? — тихо спросил он, наконец.

— Я тебе сказал уж, что еду один и притом совсем в другую сторону.

— Хм, — размышлял Щетинин, — так это совсем другой разговор выходит.

— Разговор тут самый простой, — заметил Рязанов, — «спящий в гробе мирно спи, жиз-



нью пользуйся живущий!».

— Что ж, не умирать же, в самом деле?

— Умирай, не умирай, это как ты хочешь, а на жизненном пиру тоже мы с тобой не очень раскутимся. Места-то наши там заняты давно.

— Ну, нет, брат, шалишь? Я еще жить хочу. Я так дешево не расстанусь. Не удалось семейное счастье, ну, что же делать, попытаем что-нибудь другое. Жизнь-то еще впереди. Что ж, мне тридцать лет всего. Эка штука!

Рязанов молчал.

— А я вот тут с горя-то, — продолжал Щетинин, значительно понизив тон, — книжонка тут одна мне попалась, я и стал ее перелистывать от нечего делать...

— Да?

— Ничего. Книга дельная.

— Ну и что же?

— Да я нахожу, что автор совершенно прав: он говорит, что без капитала никакое серьезное прочное дело невозможно.

— Так.

— Что, — говорит, — прежде всего необходимо сосредоточить большие денежные сред-

ства, а потом уж, как деньги у тебя в руках, тогда что хочешь делай... какие хочешь там перевероты...

— Да. Ну, а тебе-то какое же до этого дело?

— А такое, что эта книга наводит меня на совершенно новые предположения: она мне показала, что еще не все потеряно. По правде тебе сказать, я на тебя совсем и не сержусь. Что сделано, того уж не воротишь. Но сидеть сложа руки и плакаться на судьбу я тоже не могу: мне нужно дело, нужно занятие, и я придумал такое дело.

— Любопытно.

— Да, брат, будет и на нашей улице праздник: авось бог даст и мне порадеть на пользу общую; дай срок мне только разбогатеть, а с деньгами мы все эти дела обрабатываем.

— Давай бог!

Щетинин почти повеселел: измятое лицо его оживилось: он начал ходить по комнате и, задумчиво улыбаясь, поглаживал себя по голове, потом вдруг остановился.

— Да! Что ж я? Ведь ты едешь. Я и забыл. Закусить что-нибудь?

— Я не хочу.

— Да нельзя, братец. Хотя мы с тобой и соперники в некотором роде, — шутя говорил Щетинин, — а проводы все-таки следует справить по чину; по крайней мере бутылочку распить.

Он приказал подать вина.

— Так-то, брат, — уже совсем повеселев, сказал Щетинин и хлопнул Рязанова по коленке. — Вот осень подходит, стану хлеб скупать, а к весне овец заведу. Главная вещь — денег сколотить как можно больше, а там... Вот тогда я погляжу, что ты скажешь, погляжу.

— Я все равно и теперь могу сказать.

— Что же такое?

— Старую ты песню поешь: «Разбогатею, а потом начну благодетельствовать человечеству».

— Да если и старая, так что ж тут дурного? Ведь я тебе говорю же, куда я употреблю эти деньги.

— Понимаю. Цель-то, положим, что и хорошая, да средство это такое...

— Чем же? Деньги — это сила.

— Сила-то она, конечно, сила, да только

вот что худо, — что пока ты приобретешь ее, так до тех пор ты так успеешь насолить человечеству, что после всех твоих богатств не хватит на то, чтобы расплатиться. Да главное, что и расплачиваться будет как-то уж неловко: желание приобретать войдет в привычку, так что эти деньги нужно будет уж от тебя насильно отнимать.

— Зачем ты непременно везде все видишь зло? А разве не могу я честным образом?

— Мм — трудно. Впрочем, мне один знакомый протоиерей рассказывал, — такой был случай, как одна благочестивая девица и невинность соблюла и капитал приобрела. Да, бывают такие случаи, но редко.

Лакей принес на подносе бутылку рейнвейну и два стакана.

— Тебя послушать, — говорил Щетинин, наливая в стаканы вино, — так в самом деле только и остается, что камень на шею да в воду. Давай-ка выпьем мы с тобой: дело-то вернее будет.

— Это, конечно, верней, — заметил Рязанов и чокнулся со Щетининым. — Но овец-то ты все-таки ведь заведешь?

— Заведу, брат; это уж ты меня извини.

— Ну, да. И хлебом барышничать все-таки будешь?

— Буду, брат; что делать?.. Буду. Нельзя, потому наше дело торговое, в убыток продавать не приходится.

— Разумеется. Так ты не слушай! Мало ли что говорится, всего не переслушаешь. Однако мне пора. Вон и лошадей уж привели.

Щетинин взглянул в окно: на дворе у флигеля стояла телега, запряженная парой шершавых крестьянских лошадеенок; на козлах сидел мужик.

— Да куда же ты стремишься-то, однако? а? — спросил Щетинин. — В какие страны?

— А сие нам доподлинно неизвестно, — улыбаясь, ответил Рязанов. — Ну, прощай же!

— Прощай, брат, прощай, — как-то задумчиво и вместе нараспев протянул Щетинин, пожимая ему руку. — А знаешь ли, что я тебе скажу? Вот хочешь ты мне веришь, хочешь нет, — это ты как хочешь; а ведь мне, ей-богу, жаль тебя, то есть душевно жаль. Честное слово.

— Верю, — тихо сказал Рязанов и стал то-

ропливо завязывать носовым платком себе шею.

— И что бы я взял теперь вдруг эдак мыкаться по белу свету, — рассуждал между тем Щетинин, заложив руки в карманы и покачиваясь из стороны в сторону, — то есть, кажется, осыпь меня золотом, чтобы я согласился, — да ни за что! Без приюта, без пристанища, ничего позади, ничего впереди...

— До свиданья, — отрывисто сказал Рязанов и вышел. Проходя через переднюю, он заглянул в залу и увидел Марью Николавну; она стояла в дверях, прислонившись к косяку, и, по-видимому, ждала его. Он подошел к ней.

— Я хотела с вами проститься, — сказала она, отходя от двери и приглашая его войти в залу.

— И я тоже хотел, — отряхнув фуражку, сказал Рязанов.

Он взглянул ей в лицо: оно было совершенно спокойно, даже как будто немного торжественно и напоминало то выражение, какое было на нем три месяца тому назад, когда Рязанов только что приехал в деревню.

— Мы с вами, — начала она, — столько го-

ворили все лето, что...

— Все уж переговорили, — подсказал Рязанов.

— Нет, еще не все, — сухо заметила она. — Так как говорили больше вы, а я все больше слушала, то теперь ваша очередь выслушать, что я вам скажу.

— Слушаю-с, — наклоняя голову, сказал Рязанов.

— Я хотела... во-первых, я хотела поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали, и, кроме того, еще за вчерашний разговор.

Рязанов стоял перед ней, наклонив голову, опустив глаза, и слушал.

— За это объяснение я особенно вам благодарна.

На слове *особенно* она сделала ударение.

— Этим объяснением вы предостерегли меня от очень важной ошибки. В эту ночь я пережила душевный кризис, но теперь я уж совсем здорова. Вы помогли мне в этом. Вы, может быть, и сами не знали, какую оказали мне услугу. Но я вам должна сказать еще одну вещь, которая, вероятно, вас очень удивит. Слушайте! Все наши рассуждения, все, все ре-

шительно я помню, я не забыла ничего, каждое ваше слово я помню и знаю, что это так, что вы мне правду говорили...

— Да-с.

— Но странное какое дело, — представьте, что сегодня я уж вам не верю; то есть я как-то вам именно не верю. Это вас удивит, конечно?

— Нет, — поднимая глаза, ответил Рязанов. — Я знаю еще другой подобный случай, мне одна барыня вот тоже говорила: я, говорит, знаю, что земля кругла, но я этому не верю.

Марья Николавна закусила губы и торопливо заговорила:

— Ну да; и я знаю, что у вас на это хватит остроумия, только вы напрасно трудились: на этот раз я говорю совсем серьезно.

— И я на этот раз так же серьезно отвечаю вам, что в моем сравнении нет ничего для вас обидного; напротив, это так и следует: не верьте никому и мне в том числе; тем лучше, — меньше будет душевных кризисов, меньше ошибок.

— Нет, я на это не согласна.



— В таком случае как вам угодно, а я должен ехать, потому что пока мы здесь беседуем, один прилежный земледелец, приглашенный мною, чтобы довезти меня до города, теряет много золотого времени.

— Ах, я вас не держу.

— Вы не имеете ничего больше сообщить мне?

— Н-ничего.

Марья Николавна покачала головой.

— Прощайте!

Она протянула ему руку. Рязанов еще раз мельком взглянул ей в лицо: оно было совершенно холодно.

\* \* \*

— Прощайте, Иван Степаныч, — сказал Рязанов, входя во флигель.

— Куда вы? Едете? Ну, вот! Не ездите!

— Что же делать, надо ехать.

— Эх, вы! А я было собирался с вами за зайцами! А? Как бы закатились! Ну, так постойте же, я вам завяжу, — говорил он, вырывая у Рязанова узел. — Ничего вы не умеете.

Рязанов принялся застегивать чемодан.

— Да что, в самом деле, — говорил Иван

Степаныч, — и я сам погляжу, погляжу, да и тово... уеду тоже куда-нибудь, в Польшу, — вдруг решил он, поднимая узел. — А? Как вы думаете? Отличная штука! Вы тоже в Польшу? Поезжайте, поезжайте! Вот там места-то, говорят[59].

— Да, места, — не слушая, ответил Рязанов, нагнувшись над чемоданом.

Пока Рязанов с помощью Ивана Степаныча укладывал свои пожитки в телегу, ко флигелю подошла старая дьячиха и привела сына, одетого в заячий тулупчик. Она долго крестила его и, усадив в телегу, все еще кутала и прикрывала старым ситцевым одеялом, торопливо доставала из-за пазухи какие-то узелочки и, будто украдкой от кого-то, совала ему в карман; наконец, сняла с себя платок и повязала ему на шею.

Марья Николавна все время стояла у окна, и, когда мужик задергал вожжами и замахал на лошадей хворостиной, она вздохнула, опустив голову, тихо и задумчиво прошла в свою комнату и стала укладываться в дорогу.

# Примечания

Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1960, с. 446–447, (Новиков говорит о рассказах «Ночлег» и «Питомка».)..

[^^^]

См.: Л. Н. Толстой о литературе. М., Гослитиздат, 1955, с. 272.

[^^^]

См.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, с. 413.

[^^^]

М. Горький. Материалы и исследования, т. 3.  
М. — Л., 1941, с. 146.

[^^^]

Об этом см. в статье К. И. Чуковского «Литературная судьба Василия Слепцова» («Литературное наследство», т. 71. М., 1963, с. 7–8). Показательно также следующее высказывание А. М. Горького: «Возьмите нашу литературу со стороны богатства и разнообразия типа писателя: где и когда работали в одно и то же время такие несоединимые столь чуждые один другому таланты, как Помяловский и Лесков, Слепцов и Достоевский, Гл. Успенский и Короленко, Щедрин и Тютчев?» (Собр. соч. в 30-ти т., т. 24. М., Гослитиздат, 1949–1955, с. 66; статья «Разрушение личности»).

[^^^]



# 6

М. Горький. Собр. соч. в 30-ти т., т. 24, с. 219.

[^^^]

Рукопись романа (неопубликованного) находится в ЦГАЛИ (ф. 331, оп. 1, ед. хр. 12–17), состоит из пяти частей и содержит около 600 машинописных листов.

[^^^]

Е. Н. Водовозова. На заре жизни, г. 2. М., «Худож. лит.», 1964, с. 484.

[^^^]

Е. Н. Водовозова. Указ. соч., с. 489.

[^^^]

См.: Сочинения А. Скабичевского в двух томах, т. 2. Спб, 1895, с. 790.

[^^^]

«Литературное наследство», т. 71. М., 1963, с. 521–522.

[^^^]

Ныне ул. Восстания, № 7 в Ленинграде.

[^^^]

«Литературное наследство», т. 71, с. 449–450.

[^^^]



См.: «Литературное наследство», т. 71, с. 472.

[^^^]

«Литературное наследство», т. 71, с. 523.

[^^^]

Д. И. Писарев. Соч в 4-х т., т. 4. М., Гослитиздат, 1956, с. 75.

[^^^]

«Северный вестник», 1888, №5.

[^^^]

«Голос», 1866, № 67.

[^^^]

Коник — ларь для спанья.

[^^^]

«Ленор» («Le Nord», «Север») — газета, выходящая в Бельгии на деньги русского самодержавия для защиты его интересов; «Ледеба» («Les Debats») — парижская газета.

[^^^]

«Агрономическая газета» (нем.).

[^^^]



«Журнал практического сельского хозяйства»  
(франц.).

[^^^]

Уставная грамота определяла взаимоотношения каждого помещика и его «освобожденных» крестьян.

[^^^]

*Dona ferentes* — «тех, кто приносит дары», то есть коварных данайцев, обманувших жителей Трои. Здесь — о крестьянах, не верящих в бескорыстие «гуманных» помещиков.

[^^^]

Мировые посредники — должностные лица, на обязанности которых было улаживать отношения между вышедшими из крепостной зависимости крестьянами и их бывшими помещиками. Так как мировые посредники были из дворян, то обычно они держали сторону помещиков.

[^^^]

Мериленд — один из рабовладельческих штатов Северной Америки, очень часто упоминался в тогдашних газетах, так как во время междоусобной войны находился в сфере военных действий.

[^^^]

«Думою» называется в базарных селах сарай, в котором хранятся весы и меры. (*Примеч. автора.*)

[^^^]

Правительство Александра II «освободило» крестьян без земли и самым грабительским образом заставило их выкупать земельные участки у помещиков: так как помещики получили из государственного банка авансом почти всю стоимость этих земель, то крестьяне сделались на многие годы должниками правительства.

[^^^]

В наш злой, развратный век и добродетель  
Должна просить прощенья у порока, —  
Да, ползать и молить, чтоб он позволил ей,  
Творить ему добро.  
(«Гамлет», III, сц. IV.)

[^^^]



Рязанов иронически цитирует православный катехизис: «Что есть вера? Вера есть уверенность в невидимом...» и т. д.

[^^^]

По церковному уставу, перед тем как «посвятиться в попы», окончивший семинарию должен был жениться.

[^^^]

Здесь вычеркнуто цензурой какое-то слово.

[^^^]

О «жестоковейных» в библии сказано: «И накормлю их плотию сыновей их и плотию дочерей их, и будет каждый есть плоть своего ближнего».

[^^^]

Ли — американский генерал, стоявший во главе Южной армии во время междоусобной войны. Мид и Грант возглавляли армию Северных штатов. События, излагаемые здесь, произошли в мае — июне 1863 года.

[^^^]

«Жонд народовой» — революционное польское правительство, руководившее восстанием в 1863 году. Гмина — крестьянская община в Польше. Войт — глава этой общины. Солтыс — помощник войта. Усмирители польского восстания, считая гмины бунтовщичьими гнездами, требовали их упразднения и настаивали на замене войтов и солтысов — царскими урядниками.

[^^^]

Съезды мировых посредников, собиравшихся под председательством уездного предводителя дворянства.

[^^^]

Крестьяне, «освобожденные» в 1861 году, были обязаны работать на своих прежних помещиков до 1863 года, до выработки уставных грамот.

[^^^]



Как здоровье вашей супруги? *(франц.)*

[^^^]

В 1862 году в Петербурге были большие пожары. Агенты царского правительства усердно распространяли в народе лживую провокационную молву, будто виновники этих пожаров принадлежат к революционному лагерю.

[^^^]

Но чего же ты хочешь, мой милый? Ведь это мужик! (*франц.*)

[^^^]

«Аксяос» — по-гречески достойный. Когда в православной церкви посвящают кого-нибудь в сан священника, то многократно поют это слово.

[^^^]

Бочка — ножки, вставляемые в паз, сделанный особой пилой — наградной.

[^^^]

Cote — прыгать (*франц.*).

[^^^]

Становой пристав — полицейский чиновник, в ведении которого находилась часть уезда — стан.

[^^^]

Из столкновения мнений рождается истина  
(франц.).

[^^^]



Сытое брюхо к учению глухо. (*Примеч. автора.*)

[^^^]

Вы и представить себе не можете, моя дорогая, что это такое (*франц.*).

[^^^]

С чем вас и поздравляю (*франц.*).

[^^^]

...разрешите спросить (*франц.*).

[^^^]

Нет, моя милая, этим уж нас не надуешь  
(франц.).

[^^^]

...что это одна канитель. Это так и есть, моя  
милая (*франц.*).

[^^^]

Дороги убийственные (*франц.*).

[^^^]

Дармштадтский — намек на официальный гимн царской России, так как царствовавший в России дом Романовых был связан теснейшими родственными узами с немецкими княжескими родами.

[^^^]



Начало речи римского оратора Цицерона, обращенной к его врагу Катилине: «До каких пор, Катилина, будешь ты испытывать наше терпение?»

[^^^]

Первые слова ветхозаветной заповеди: «Не пожелай жены ближнего твоего».

[^^^]

Таците — молчите (*лат.*).

[^^^]

Dahin — туда (*нем.*). Рязанов цитирует «Песнь Миньоны» Гете: «Туда, туда, где цветут лимоны».

[^^^]

Правительство Александра II, жестоко расправившись с польским восстанием 1863 года, решило заменить польских чиновников русскими, и чиновничьи места в Польше стали соблазнительной приманкой.

[^^^]